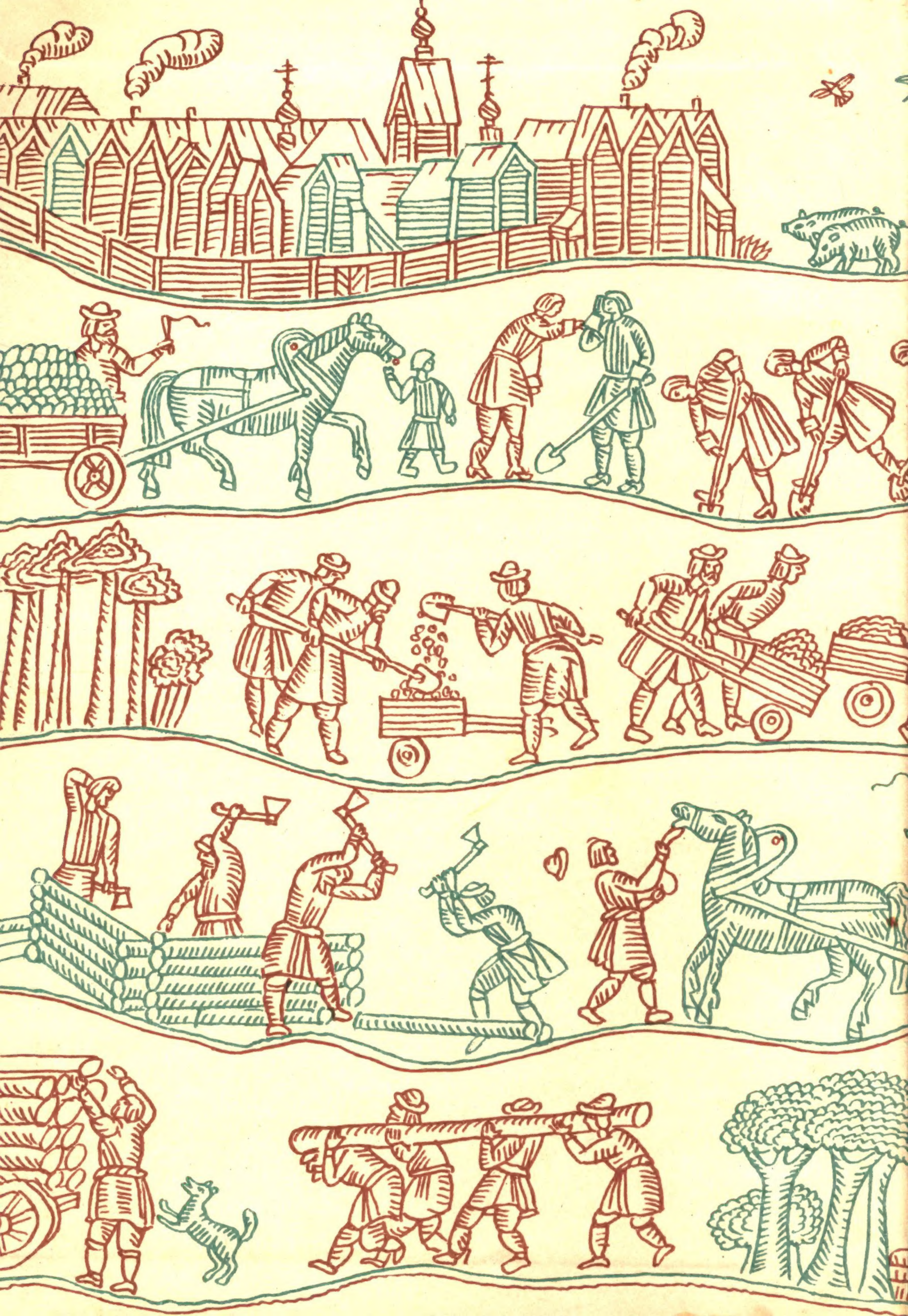
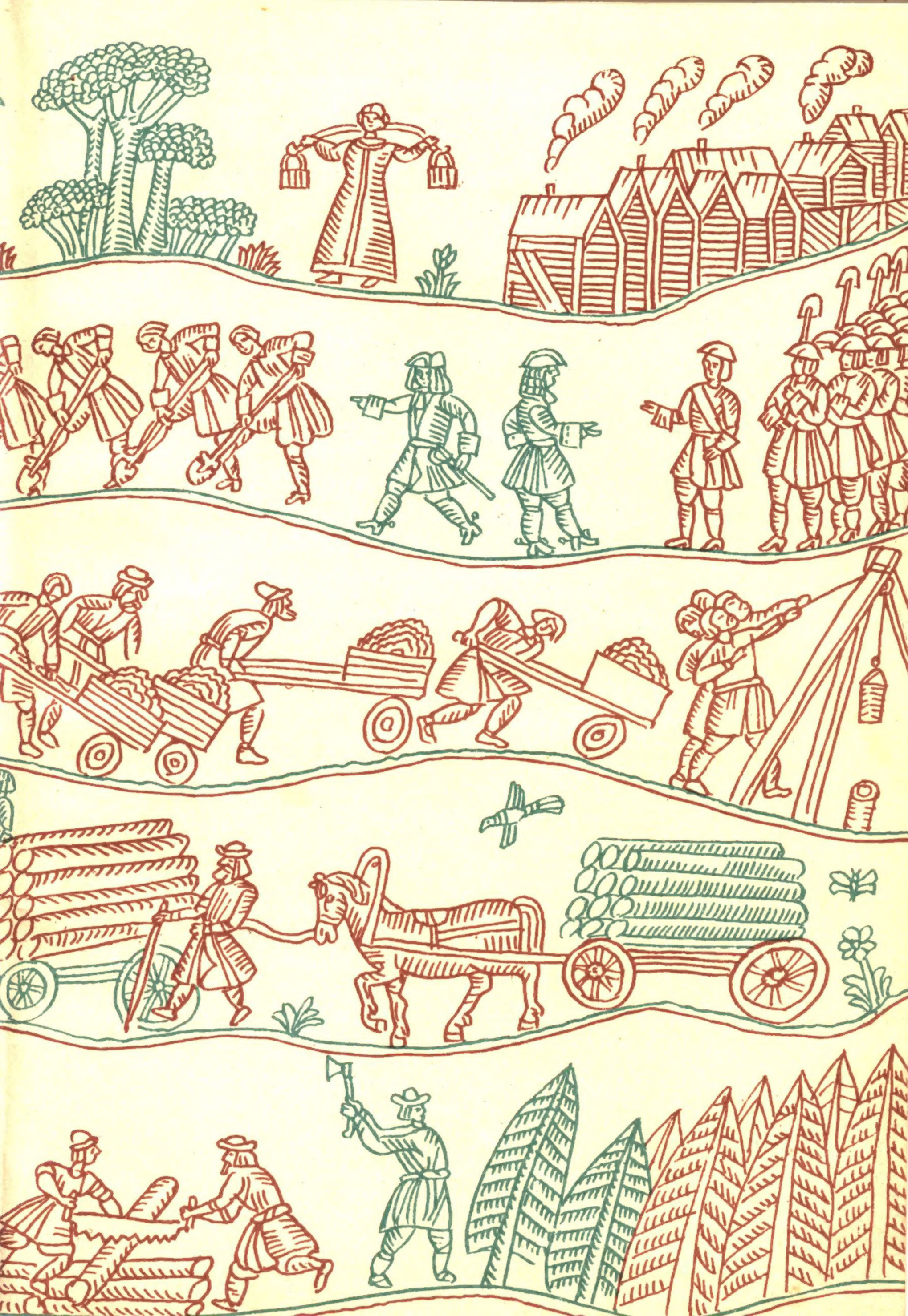
А. И. ВЕРЕСОВ

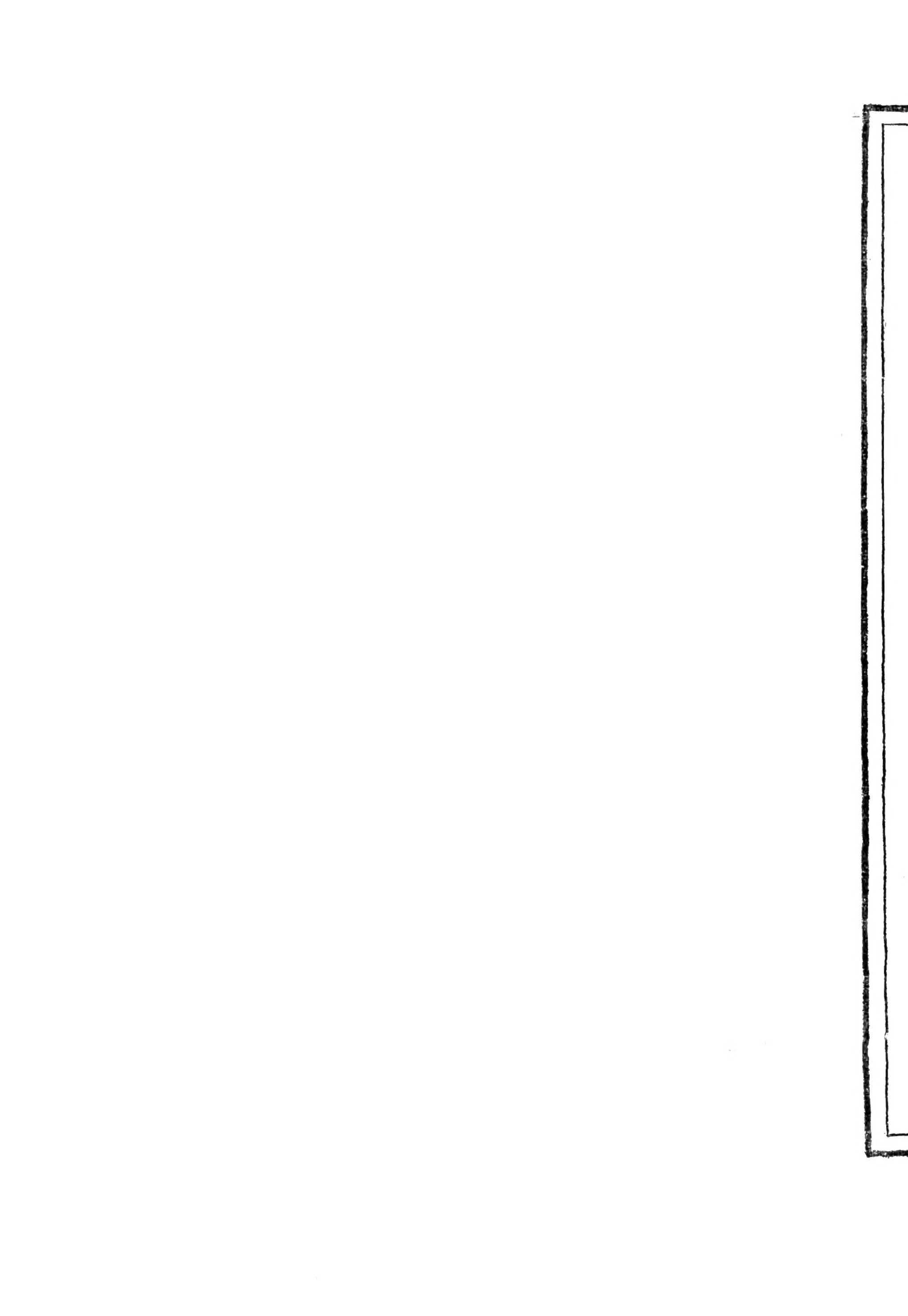
КАНАВУШКА ЛАДОЖСКАЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА







А. И. ВЕРЕСОВ



КАНАВУШКА ЛАДОЖСКАЯ

историческая повесть

Рисунки Б. Забирохина

ЛЕНИНГРАД
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1977

В 31
9(С) 14+Р 2

Вересов А. И.

В 31 Канавушка Ладожская. Историческая повесть Рис. Б. Забирохина. Л., «Дет. лит.», 1977.

208 с. с ил.

Историческая повесть о строительстве Ладожского канала в XVIII веке, о работных людях, воздвигнувших небывалое по тем временам гидротехническое сооружение.

9 (С) 14+Р 2

В $\frac{70803-170}{М101(03)-77}$ Без объявл.

Более двадцати лет назад вышла моя первая книга о старых мастерах. Она так и называлась: «Рассказы о старых мастерах» (Детгиз, 1956). Потом были опубликованы повести о петергофских камнегранильщиках, строителях Исаакиевского собора, механиках Вольного экономического общества, ряд рассказов.

В повести «Канавушка Ладожская» рассказывается о строителях крупнейшего гидротехнического сооружения XVIII века — Ладожского обходного канала. То была первая стоверстная «рукотворная река» России, жизненно необходимая для недавно основанного Санкт-Петербурга.

Действующие лица повести — инженеры Б. К. Миних, Г. А. Резанов, А. П. Ганнибал. Но главные ее герои — простые работные, «земляного дела мастера». Они — воплощение многогранной талантливости народа, их хорошо называли — самородками.

Старые мастера шли впереди своего времени. Люди грамотные, думающие, беспокойные, они стремились облегчить непомерный труд человеческий. И тогда, в пору жесточайшего крепостничества, им было глубоко присуще чувство Родины и сознание подвига во имя ее. Стоит хотя бы немного поработать над богатейшими собраниями документов в ленинградских архивохранилищах, чтобы убедиться в том.

Мастера далекого прошлого — люди очень близкие нам своим душевным порывом, увлеченностью, свободолюбием.

Это истинные предтечи русского рабочего класса.

Повесть «Канавушка Ладожская» посвящена их труду, их памяти.

А. Вересов

По утру то было раным рано,
на заре то было на утренней,
на восходе красна солнышка,
что не гуси, братцы, и не лебеди
со лузей, озер подымалися —
подымалися добрые молодцы,
добрые молодцы, люди вольные,
все бурлаки понизовые
на канавушку на Ладожску,
на работушку государеву.

Народная песня. XVIII век.



ОБ ИСПЫТАНИЯХ И ТРЕВОГАХ ЮНОГО ГОРОДА

Злая осень стучала в ворота Санкт-Петербурга. Единственное сухопутье, которое вело из северного «парадиза» через Канцы в Новгород и далее в глубь России, заплыло грязью. Лошади не увязали в ней, а тонули. Ни пройти, ни проехать.

В самом городе, где лесные просеки приметно становились улицами, у дворов были набросаны березы, елки. Через болота тянулись бревенчатые гати.

Дождливыми утрами к изгородям выходили сохатые, трясли горбоносыми кудлатыми головами, тоскливо и зовуще ревели. Случалось, медведь, отряхая густую бурую шерсть, выбредет к заставской засеке. Вздыбится матерый, с недоумением посмотрит на караульную будку, на полосатый шлагбаум, потянет широкими красными ноздрями печной дым. А во

всей округе псы остервенело лают, воют, рвутся с цепей. Солдаты бегут уже к зверю с мушкетами. Работные, побросав молотки и долота, хватаются за рогатины. Орут, улюлюкают. Медвежатина — неплохая пожива.

Всех наглей волки. Бродят стаями. Из клетей тащат последние припасы. Раскидывают солому на кровлях, через крыши врываются в замкнутые хлева, загрызают коров, телят.

На днях рысь напала на часового у меншиковского дворца. Едва отбился солдат.

В морской и ткацкой слободах, на узкой, лепящейся с краю болота Хамовой улочке, по берегам вонючих речек Мьи да Кривуши, на Васильевском острову, который называют еще и по-старому Лосиным, повсюду у колодцев, стуча ведрами, толпятся и судачат бабы, разнесчастные питерские насельницы. Толкуют о последних тревожных новостях.

Всего больше разговоров о хлебе. Нет хлеба. Теперь уж вовсе нет. К последним зернышкам приходится еловую кору долбленую примешивать. Сказывают, что на речке Тосне нашли белую глину съедобную. Правда ли?.. Господи, как дотянуть до холодов, до ледостава?..

Каждую осень и каждую весну Санкт-Петербург люто голодал. Бездорожье отрезало город от всей России. Оставался только один путь: водой через Ладожское озеро. Но как раз в эту пору оно неизменно гремело и ворочалось страшными бурями. Хлебные караваны разбивало в щепки. В Санкт-Петербурге считали каждую баржу, пробившуюся через неистовое седое озеро.

К мучным амбарам сбегались оборванные ребятишки. Старухи голосили, выпрашивая горсточку ржи. Гвардейцы-семеновцы стояли перед амбарным рядом. Их узнавали по красным мундирным обшлагам. Широко расставленные ноги в ботфортах с кожаными раструбами. Солдатские кулаки казались темными, как чугун. Поясные ремни оттянуты тесаками...

Нагнало воду в Неву. Она покрывала пеной бревна в адмиралтейском кружном канале. Ветер свистел в стапелях.

Длинные, приземистые магазейны, парусные прядильни, канатные буяны были поставлены на глубоко вбитые сваи. Болотная земля хлюпала под ногами.

Безостановочно гремели станы. Плющились железные скобы под молотами. Двухобхватные дубовые стволы, пригнанные из Казани, распадались под пилами на золотисто-желтые

толстые доски. Опилки густо носились в воздухе, резали обветренные лица корабельщиков.

На валах медные пушки окутались дымками. С лесов первого эллинга, на полозьях, охваченных пламенем, кормой вскидывая воду, ушел в широченный ковш крутобокий «новоманирный» бриг. Его тотчас, как норовистого коня, прикрутили швартовыми к достроечной стенке...

В полуверсте вверх по реке, на Заячьем острове, падали с копровых отвесных вышек железные бабы. Скрипели блоки, наматывая канатную снасть. Земляные раскаты Петропавловской крепости повсюду заменяли каменными. Против кронверка уже высились кирпичные стены. Начинали кладку со стороны Невы.

Сняты последние леса с Петровских ворот. Над высоким каменным пролетом реет свинцовый орел. Из свинца же отлит «бог Саваоф в облаках». Другая библейская картина резана из драгоценного мореного дерева. В нишах по бокам — белые изваяния.

Чудо из чудес. А вокруг — разрытая земля, холмы мокрой глины, убогие домишки, крытые березой и дерном.

Огибая новые ворота, тянулись обозы с булыжником и бревнами. У лошадей лопались подпруги. Мужики подпирали плечами телеги, выносили их на колею...

Еще выше по Неве выбрасывал огонь из труб окутанный чадом и дымом Литейный двор. С главной, лицевой стороны, где над рубленой избой — деревянная башенка, омывала его Нева. С другой стороны катил мутные валы Безымянный ерик, а с третьей был прорыт глубокий Косой канал. Вода из него падала на лопасти поднимальных и сверлильных машин.

В лужах, расплесканных по двору, дымились пушки, только что вылущенные из форм. В сараях со сбитыми с петель дверьми углежоги налаживали горны. Кузнецы с бородами, обмотанными мокрыми тряпицами, ворочали клещами тяжелые раскаленные брусы. Крякнув, вскидывали молоты, опускали их на железо — и в это мгновение грудью встречали поток жарких искр...

Во весь мах работал юный, пятнадцатилетний, Санкт-Петербург. Работал и проклинал бездонную болотистую прорву.

Край выжжен войной. Крестьянские дворы опустели. Мужики либо под ружьем, либо лопатами землю ворочают. Город трудился и жестоко голодал.

Повсюду: на валах Адмиралтейства, у крепостных подъемных мостов, у печей — варниц Смольного двора, на рыночных задворках и городских перекрестках — повсюду теплились тоненькие восковые свечечки. Сладкий ладанный дух шел от них. Вился белый дым. Ветер гасил крохотный, на солнце совсем невидимый огонек. Сердобольные прохожие становились на колени, заслоняли ладонями, снова зажигали вощеный фитиль.

В городе с каждым днем становилось все больше горящих свечечек. Они чадили в изголовье мертвецов, лежавших с раскинутыми руками, с прикрытыми рядном лицами. Сенатским указом давно уже был настрого запрещен вой и плач над покойниками. И все же огонек трепетал над отработавшими, отстрадавшими свое; он бессловесно тосковал и молил: хоть копеечку, хоть грошик. На похороны. На упокой души.

Тревожно и голодно на Неве. В городе чаще всего слышались два слова: «хлеб» и «Ладога».

Пройдут по озеру суда — жизнь и спасение. Не пройдут— надо помирать.

Ладога! Имя это повторяли так часто, с такой надеждой и страхом, что казалось — люди молятся древнему языческому богу русского Севера:

— Ладо! Ладо! Не погуби.

Запомнят питерцы страшную осень одна тысяча семьсот восемнадцатого года.



О ТЕХ, КОМУ ЖИТЬ В ЭТОЙ ПОВЕСТИ

Той же осенью за сотни верст от Санкт-Петербурга, от его трудов, горестей и огней, на Варшавском плацу генерал-майор Бурхард Кристоф Миних строил войско к смотру и параду. Генералу недавно исполнилось тридцать пять лет; он строен, высок, красив. Генерал шпорил коня, в развевающемся плаще носился перед полками, перестраивал каре, покрикивая резким, властным баском.

Миних, природный немец, за пятнадцать лет службы успел показать свою боевую отвагу и решительность. Он участвовал в войне с Францией, побывал в плену, а ныне служил польской короне.

В его судьбе странно сочетались шпага и циркуль. Прадед и дед Бурхарда Кристофа, образованные инженеры, вели водяные работы в Вистлендском графстве. Отец строил плоти-

ны и шлюзы в Ольденбурге. Он приучал и сына к тому же делу. Маленький Миних в девять лет умел недурно чертить.

А в пору возмужания поманили военная слава, дым костров, серебряные голоса труб...

Удачливый и храбрый, молодой генерал ни о чем не жалел. Острый клинок тешил его гордость куда больше, чем дюймовая линейка.

Все же в характере Бурхарда Кристофа рядом с тщеславием, постоянной готовностью к риску и невозмутимым бесстрашием была расчетливость. Он знал, что торгует своей шпагой, и всего важнее в этой торговле не прогадать, не продешевить. Он знал также, что Польша — только кратковременный бивак на его пути. Главное — за горизонтом, впереди.

Вот уже скоро два десятилетия воюют могущественнейшие державы Европы — Швеция и Россия. Едва ли не с первых своих офицерских галунов Миних прикидывал: кому выгодней было бы служить? Временами казалось — шведскому Карлу, иногда — русскому Петру.

После сокрушительного поражения шведских войск под Полтавой, после морских викторий и падения Выборга особенно раздумывать не приходилось. Победа России была несомненной, делом ближайших лет.

Огромная, по слухам — варварская, Россия, с ее просторами от моря до моря, с ее снегами и медведями, со столицей среди невских болот неотразимо влекла немецко-польского генерала, этого бродячего рыцаря.

Бурхард Кристоф Миних давно искал встречи с Петром. Чудаковатый верзила, русский царь путешествовал по заморским землям, и следом за ним бежала удивленная людская молва. Европа не видывала таких монархов. Он заглядывал на верфи и в кабаки, на городские рынки и в арсеналы, кузницы и словолитни.

Встретиться с Петром было нетрудно. Ему нужны такие вот беззаботные «перекати-поле», смелые солдаты, как Миних. Они столкуются...

В тот же год на краю российской земли, в деревушке Леднево, пело, голосило, топотало пудовыми рыбацкими сапогами хмельное застолье. Изба, сложенная из окоренного сосняка,

ходуном ходила. Празднику тесно было под низким, закоптелым дочерна потолком, среди конопатных, с прозрачными смоляными наплывами стен — выхлестнул праздник на двор, на улицу, на самый берег озера.

Темные тучи волочили брюхо по дальним лесам. Рыбаки крякали, ухали, кружились на потревоженной земле. Ветер холодил разгоряченные лица, распухшие губы, взмокшие шеи. Никто не прислушивался к тихому балалаечному перебору.

Бабка Стеша праздновала сговор своей второй внучки Дарьюшки с Захаром Смирны́м.

Большуха Анастасия давно уже была замужем за староверским старостой из Выгозера Иваном Круглы́м. Захар, воспитанник Ивана, тоже пошел было по кержацкой дорожке — почитай, все свое раннее отрочество прожил в Кивгоде, в скиту старинном и строгом.

Бог с ними, недолюбливала бабушка Стеша раскольников, этих лесных нелюдимов, прижимистых, молчаливых, богомольных и злобных.

Хватит с нее одного Ивана. Ни за что не сговорила бы Дарьюшку с Захаркой. Да он вовремя распрощался со староверством. Стал, как и положено молодому ладожцу, рыбаком...

Нынче сговор. Зимой свадьба. Будут молодые жить в Ледневе.

Когда-то неподалеку от Леднева по малой речке проходил шведский рубеж. Но селяне отошли на российскую сторону, издавна рыбачили для воеводского двора.

На покосившихся крестах деревенского кладбища — почти сплошь женские имена. Мужики гибли на Ладоге.

Вот и Степанидин единственный сын в громовую, озаренную молниями ночь не вернулся с озера. Безвестно сгинул с челном своим.

Было это незадолго до войны со шведами. Невестка не перенесла горя, зачахла. Остались две девочки, сестренки. Бабка Стеша плакала только в первые дни. Потом некогда было плакать.

Не жаловалась никому. Покоя не знала. Ее натруженные руки с годами как-то скосились в суставах, огрубели, стали похожими на лапы. Внучек бабка вырастила статными сероглазыми красавицами. И вот уже младшенькая нашла своего суженого.

Низенькая, чуть сгорбленная, ссохшаяся, стояла Степанида Федоровна на крылечке. Прикрывала концами платка беззубый рот, лучила добрый взгляд на Захара и Дарью.

Он — плотный, кряжистый. Смоляные кудри упали на потный лоб. Она одного с ним роста, тоненькая и стройная, глаза опущены, выступает лебедушкой, губы пахнут лесной малиной. Жених и невеста держатся за руки, как малые дети, словно опасаются потеряться в шумной толпе.

«Так бы всю жизнь пройти им рядышком», — шепчет старая провалившимися губами...

От Леднева до Парижа — немереные версты. Ладожским рыбакам, поди, неведомо, что есть на свете такой город, именуемый еще «Новым Вавилоном».

В Париже в ту пору начинал свое школярство Абрам Петров. Был он в годах, хотя и молодых, а все-таки для школьных азов великовозрастен.

Что делать, — так уж все сложилось. В французскую столицу приехал «негр из России». Не первая и не последняя причуда в его судьбе.

Лет двенадцать тому назад русский посол вывез из Турции маленького африканца. Был он уроженцем Абиссинии, а в Турцию попал как аманат, заложник. Случай забросил его в Россию.

Черный кроха, сердито сверкающий белками глаз, показался забавным государю Петру Алексеевичу. Он оставил его у себя. Сам окрестил Абрамом, дав в отчество свое имя, ставшее на время и фамилией. Так при российском дворе прижился «арап» Петров.

Что ждало его в незнакомой стране, в доме великана, у которого страшно топорщились усы, даже когда он смеялся? В журналах дворцовой канцелярии появилась однажды запись: «Деланы кафтаны Якиму карле и Абраму арапу, к празднику рождества христова, с камзолы и штаны».

Быть бы «арапченку» среди уродов, шутов и шутих. Да Петру Алексеевичу полюбилась его бойкость, необыкновенная сметливость. Привязался к нему, сильно привык.

Спал малыш обычно у порога государева покоя. Нередко ночью, тревожимый бесконечными заботами, Петр Алексеевич сердито звал:

— Арап!

Тот мгновенно вскакивал со своей подстилки.

— Подай огня и доску!

Аспидная доска всегда висела на стене, возле кровати. Петр Алексеевич, скрипя грифелем, записывал неотложное — не позабыть бы к утру.

— Поди спать, — отпускал «арапа», который спросонья кулачонками тер глаза.

И вот малыш стал юношей, ладным и расторопным. Петр Алексеевич, не раздумывая, отправил его вместе с дворянскими недорослями за рубеж, в город Париж для учения, «главнейше же инженерству».

Крестник царя Петра! Это стоило любого титула, при котором очень даже можно забыть о цвете кожи. Абрам Петров зван в большой свет. Знатные француженки не гнушаются пройтись в полонезе с этим стройным иноземцем — у него такие пламенные глаза. И крохотные нежные ручки тонут в черной лапище.

Да у него-то, при всей его молодости, крепко засел в голове наказ, данный ему при прощании в Санкт-Петербурге.

Где найти толковых учителей, сведущих в фортификации и гидравлике? К тому же не жадных до денег.

Государь скуповат. Приходится на еде экономить. Впрочем, страшно ли юному волонтеру иной раз недоесть, недоспать?

Рядом с домом, где жили приезжие из России, в поле устроили примерный городок. Здесь вырыли неглубокие апроши, подняли малые земляные плотинки, бейшлоты.

Петров с охотой проверял на земле вычитанное в книгах, услышанное в словесном поучении.

Трудное дело — инженерская наука...

На исходе осени в Приладожье, в сельцо Дубно пришел на зимовые квартиры Новгородский полк. Был он боевой, обстрелянный.

Начинался этот полк в Азовских походах. Дважды погибал под вражескими крепостными стенами и дважды заново рождался, пополненный рекрутами-северянами: вологодцами и вятичами. Назывался же он прежним именем, по первому своему составу.

Под Нарвой новогородцы бежали от противника во всю прыть. Зато Копорье и Ям взяли в упрямой лихой атаке. И на Выборгском замке под картечью поднимали они петровский штандарт...

Истомленный долгим походом, полк первые сутки беспробудно спал. Крестьянских изб едва хватило для офицеров. Солдаты могуче храпели в сложенных на скорую руку шалашах, а то и на мягком мху, у костра. Не было сил ставить палатки.

Лишь на другой день начали валить лес для казарм, для складов, для поварни.

Среди молодцов, рубивших деревья и поднимавших венец на венец, приметен был солдат почти саженного роста. Глаза у него были ребяческие, синие под мохнатыми пшеничными бровями. Звали его Иванов Василий.

На всех смотрах полковое начальство ставило Василия в первый ряд, точно хотело похвастаться: вот-де какие у нас витязи. Сам же он не любил быть на виду, будто стыдился своих огромных рук и ног, на которые не лезли ни одни казенные сапоги. Шили ему по мерке, на особицу. На солдатских гульбищах, которые случались после удачливого боя, Иванов всегда становился в сторонку, сотоварищи побойчее оттирали его от костра, в холодок. А щи из общего котла он чаще всего хлебал последним, уже без мяса.

Вся рота покатывалась со смеху, слушая историю, как Василий попал в солдаты. Поверстан был в рекруты сын старосты. Служить ему не хотелось. Так Василия подпоили брагой — до того он и вкуса ее не знал.

Очнулся парень уже в войсковой канцелярии, связанный. Сдали его в полк «в зачет рекрута». Связали же, наверно, потому, что спьяну шумел. Сын старосты остался в деревне, при отце.

— Чего же ты не вопил? — спрашивали Иванова товарищи.

Он всегда удивлялся этому вопросу:

— Зачем вопить? Я давно уже сам хотел солдатом сделаться. Тут хоть жизнь вольная.

Хохотали еще дружней. Уж не для потехи ли он такое сказал? Вот дурень, надумал под солдатской шапкой вольной жизни искать.

Иванов смеялся вместе со всеми.

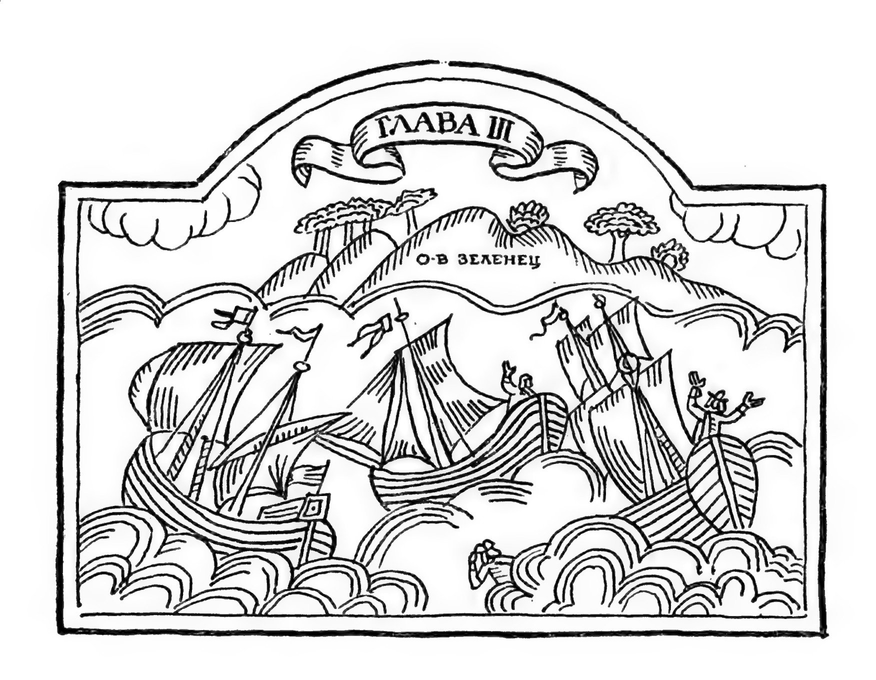
В изредка случавшиеся свободные часы он любил ухо-

дить на озеро. Долго стоял здесь и смотрел, как волны разбиваются о берег. Ветер горбом надувал его расстегнутую рубаху...

Однако же велик мир! Затерянное в лесах приладожское село и огромный, столетиями шумящий многолюдьем Париж. Неметчина с домами под черепичными крышами, с укатанными дорогами и город-подросток Санкт-Петербург, пропахший разрытой землей, порохом и еловым смольем.

И люди какие разные живут на земле! Блистательный генерал — и молодой рыбак, который, кроме озерных, других дорог не ведал. Царев вскормленник, юноша-африканец, — и русский солдат-новгородец.

Могли ли они знать, что судьба сведет их вместе на болотах-кочкарях, под серым северным небом?



О СВИРЕПОМ НЕВО-ОЗЕРЕ И ЗЕЛЕНЦЕ БЕЗЛЮДНОМ

Иван Круглóй никогда не рассказывал Захару, как они вдвоем оказались на Ладоге. Захар только и знал, что родился он где-то в Серпуховской вотчине, рано осиротел. Дяденька Иван подобрал его, словно бездомного щенка. Потом, когда поехал в Питер зарабатывать оброк, захватил с собой и Захарку.

В Петербурге, на Охте, где чуть не все жители были раскольниками, Круглого надоумили обосноваться на Ладожском озере. Там, в скитах, житье раздольное и хлебушек сладкий.

Иван и тут не оставил воспитанника. Наладил его в Кивгоду, которая слыла сиротским скитом. Здесь охотно брали бездомных ребятишек, учили их грамоте по старинным книгам. Из этих ребятишек с годами выходили слав-

ные трудники — они и землю пахали, и луга косили, и бортничали в лесах.

Захарка усердно крестился двумя перстами, пел в моленьной по крюкам[1], носил лестовку[2], которой его при случае и поколачивали за мудрствование и суесловие.

А «мудрствовать» паренек начал, едва достиг пятнадцати лет. Сам настоятель отличал его за книголюбство. Трудничал он на полях бессменно. Как и все сироты, работал на братию. В поварню же его не пускали на общую трапезу. Кормили объедками. Он и спросил как-то отца-эконома, почему щи стылые. Его — на послух: целую неделю стоять у часовни и всем кланяться, денно — до земли, а в воскресенье — в пояс. Смирения ради.

За скитскую околицу не пускали. Работа да молитва. Весь свет в окошке. В тесной келье — лбом о пол, истовое псалмопение. С темных, древнего письма икон смотрели лики святых мучеников.

Не мальчишку — юношу звал мир за околицей. Что там, в большом мире, как живут, чего ищут? Обуяла его неуемная жажда жизни.

Тогда и решил Захар покинуть Кивгоду.

Иван Круглой, узнав о том, прикрикнул, наотмашь ударил по лицу воспитанника. Захар побледнел, отступил на шаг. Сказал тихо, не поднимая глаз:

— Заместо отца ты мне, дядя Иван. Спасибо за хлеб-соль, спасибо за науку... Но ежели еще раз ударишь, убью.

Руки у парня крепкие, хваткие, плечи широченные, глаза в тот миг — звероватые. Убьет, не задумается.

Плюнул Иван. Отступился. С год не разговаривал, не узнавал своего питомца.

Но Захар, хотя и молодой, стал рыбаком степенным, удачливым, без баловства. Этого не уважать нельзя. Старая обида жила, но уже не так сильно трогала душу. А тут еще довелось и породниться. Ссора как будто смягчалась...

Захар Смирной серпуховщину почти вовсе не помнил. По-настоящему родной землей стало для него межозерье. Это край рек и речек. Озер здесь, малых и всяких, не счесть. Самых больших — два. Они — как моря. Берегов не видать.

---

[1] Крюки — знаки древнего нотного письма.
[2] Лестовка — раскольничьи кожаные четки.

В непогоду волна крутая, обрубистая, в борта бьет с тысячепудовой силой.

Две своенравные сестры — Онега да Ладога — протянули друг дружке руки Свирью, рекой извилистой, кипящей на Сиговецких порогах. Свирь течет стремниной, словно по наклонному желобу. Онежское зеркало приметно выше Ладожского.

Смелому рыбаку в этом крае есть где развернуться. На речных перекатах, в затененных быстринках богатые лососевые тони. Но Захар на реках рыбачит изредка. Не может он объяснить ни себе, ни односельчанам, почему полюбилось ему неспокойное, трудное для добытчика, по древнему своему имени — Нево-озеро. Прирос к нему сердцем. На лодке-свиряночке исходил Ладогу вдоль и поперек, от залива Хиен-Сельме до мыса Заячьего и от устья Вуоксы до устья Олонки...

Сейчас, в утреннюю, раннюю пору, свиряночка со свернутыми парусами покачивалась у ледневского причала. Ветер разогнал облака. Спокойные, нежаркие солнечные лучи пронизывали воду.

Дарья и Захар сидели на берегу. Русая и цыганисто-черная головы — рядышком, щека к щеке. Сговоренные жених и невеста удрали от шумливых сородичей, не заметивших ни светлой зорьки, ни солнца над озером.

Молодые смотрели, как в глубине играют плотички, быстрыми веретенцами сверлят воду. А то вдруг самая смелая выскочит, схватит неосторожную мошку и снова плюхнется в озеро. Серебряные стайки носились туда-сюда. Потом в одно мгновение исчезли, будто их и не бывало.

— Смотри, Дарёнка, смотри, — шепнул Захар.

Порядочный щуренок с черной полосой на спине лениво, едва шевеля хвостом, с хозяйской важностью пронизал мелководье...

На бережку сидели долго. Затем, не сговариваясь, взглянули на лодку. Волны внятно плескались в борта. Привязь чуть подергивало, словно пробовало, крепка ли.

Дарья, ничего не сказав, поднялась, пошла в избу. Вернулась в шугайчике — душегрейке, — с краюшкой хлеба, завернутой в белый платок. Захар успел уже натянуть высокие сапоги и хлопотал у лодки. Он подхватил невесту и перенес ее в качнувшуюся на плаву свирянку.

Сразу за широкой каменной гривой, торчащей из воды, подняли парус. Дарёнка издали увидела бабушку Степаниду

на крыльце. Весело помахала ей рукой. Лодку сильно кренило. Захар ухватил мачту и в противовес почти лег на другой борт. Волны пели возле самого уха.

У рыбака не было своего дома. Не мог он порадовать невесту ни камчатыми платками, ни камешками-самоцветами. Все богатство его — вот эта лодчонка да штопаная-перештопаная мережа.

Хотелось ему одарить подружку всеми сокровищами Ладоги, извечной ее красотой. Кто укорит в том рыбака?

Плыли вдоль берега. Кустарники стлались густой порослью. Местами вспыхивала огненно красная калина. Ивы ветвями припадали к воде. Осинки уже расцветились осенней радугой. Листва на березах отливала чистым золотом.

Захар выпрямился у мачты. Он показывал на горизонт, затянутый сизой пеленой. Едва заметно из нее выступал песчаный отлогий мыс.

— Видишь, Дарёнка, это Песоцкий нос. А по ту сторону— Морвинский нос. За ним — Шурягский...

Рыбак закрепил шкоты. Свирянка шла сама. Захар растянулся на днище. Он слушал, как под досками журчит вода. Смотрел то на небо с быстро проносящимися облаками, то на лицо невесты, сидевшей у борта. Она зачерпнула горсть воды, засмеялась чему-то, остудила в ней алый, припухлый рот — от свежести, от холода заломило зубы. Смешно, по-ребячьи сморщила нос. Полуопустив веки, смотрела вперед.

Дарья родилась и выросла на озере. Хорошо знала его вблизи своего села. Но так далеко, под парусом уходила впервые. Она слушала Захара. Понимала, что теперь все это и для нее очень важно.

Молодой рыбак рассказывал, где и в какую пору ловят самую знаменитую ладожскую рыбу. Невского сига надо брать на быстрине, в истоках. Валаамка любит глубину, и добывают ее у северных скал. Хорош свирский сиг, но и его нужно искать умеючи: по правой речной стороне, незамутненной притоками.

— Мы с тобой еще и за хариусом сходим, — пообещал Захар. — Забавный он, этот хариус, большелобый, по виду увалень, а увертлив. И за щукой сплаваем в камыши...

Нравилось Смирному уважительное внимание, с каким слушала его невеста. Плыли они долго, не очень заботясь, что солнце давно уже перешло зенит.

Захар приподнял голову над бортом и сразу вскочил на ноги. Хорошо знакомые ему береговые камни — луды — обнажились до самой подошвы. Воду далеко отогнало. Ох, то дурной знак! Жесткий ветер уже рвал парус. Никто лучше рыбака не поймет грозное это предвестье.

Резко громыхнув, опустилась рея. Рыбак сгреб надутую крутыми буграми, просмоленную холстину. Бросил весла в уключины. Одним гребком развернул лодку.

С полуночной стороны, закрывая небо, нанесло тучи. Они приближались необыкновенно быстро.

— Дарёнушка, — позвал Захар.

Невеста села рядом. Теперь они гребли вместе, в две пары рук. Нечего было и думать о том, чтобы вернуться в Леднево. Берег озера обнесло пеной. Неведомо откуда взявшиеся валы поднимали и рушили высокие гребни.

Вот он, дикий нрав Нево-озера, крутой в переменах, непредвидимый в переходах от обманчивой тиши к ревущей буре.

— Почему мы уходим от берега? — тревожно спросила Дарёнка.

— Дальше, как можно дальше от этих камней! — прокричал Захар.

Они вели лодку поперек волны. Надо было добраться до Зеленца, ближайшего острова. Но хватит ли сил выгрести?.. Свирянку то и дело разворачивало ветром. Смирной велел Дарье пересесть на корму и покрепче держать рулевое прави́ло.

Сердце колотилось в груди так, что рыбаку подумалось: сейчас оно остановится от страшного напряжения. Поднималась злость к самому себе: проглядел начало бури!

— Не бойсь, Дарёнушка, — Захару казалось, что он шепчет эти слова, в действительности же кричал во всю силу, — не бойсь! Вот он, Зеленец!

Остров приближался страшно медленно. Еще один взмах весел и еще... Уже видны сосначок на берегу и камлатая береза, когда-то расщепленная ударом молнии.

Наконец-то лодка ушла от ветра. В маленькой бухте, прикрытой лесом и каменистым уступом, волны были не так высоки.

Но руки уже не слушались Захара, он не мог пригрести к берегу. Рыбак перевалился за борт и, держа намокшую веревку, повел свирянку к отмели, как ведут лошадь за уздцы

к коновязи. В веревку для крепости была вплетена свиная щетина. Она немилосердно резала ладони. Боль он сгоряча не почувствовал.

Захар и Дарёнка без сил растянулись на берегу. Долго они так лежали почти в беспамятстве. Пошел дождь, мелкий, как пыль. Ветром его носило и скручивало, словно плотную ряднину. Тучи задевали вершины деревьев. Они росли тесно, с зловещим треском терлись стволами.

Захар очнулся первый. Озеро ревело, стонало, гремело. Небо расколола прямая, неразветвленная молния. Рыбак вскочил. Он поднял на руки Дарёнку, отнес ее под широкие ветви огромной елки, положил на сухую прошлогоднюю хвою.

Потом он, насколько смог, вытащил лодку на берег. Достал из кормового рундучка трут и кресало. Долго выбивал искру. Валежник, собранный в кучу, задымился, вспыхнул неярким огнем...

— Голубушка, — позвал Захар, — слышь? Давай-ка сушиться.

Широко раскрытыми глазами Дарёнка смотрела на костер.

— Господи, — прошептала она, — где мы? Зачем?

Ветер не доставал до костра, и все же пламенные языки метались во все стороны, выбрасывали искры-светлячки.

Дарёнка снова спросила:

— Когда-то выберемся отсюда? — И сразу поняла, что спросила напрасно, знала ведь: озеро раскачается — не скоро успокоится. Вздохнула горестно: — А в Ледневе, у бабушки Стеши, наверно, сейчас печка топится...

На Зеленце никто не жил. Изредка на перепутье заходили рыбаки или охотники. Захар без труда нашел старый шалаш-развалюху. Но от него остался только остов — жердь на двух рогатках. Наломать веток, набросать настил — дело нетрудное.

Вечер и ночь прошли в заботе, как бы просушить одежду, не закоченеть от холода. Все было как в страшном сне. Непроглядную темь освещали долгие молнии. На острове что-то падало, громыхало. Земля вздрагивала под напором бури.

Захар и Дарья думали об одном: может, смилуется Ладога, к утру уляжется волна. Нет, не улеглась.

Еще более свирепо, беспощадно, властно дыбила она озеро. Приходилось устраиваться основательней.

Уже светало, когда Дарёнка нашла Захара возле лодки. Он возился у раскрытого рундучка. Тут был обычный

рыбацкий припас: деревянная игла, чинить мережу, буркало — молоток, чтобы глушить рыбу, железный крюк — кнюшка, топор, медный котелок и даже то, что составляло особую гордость Смирного — матка. В деревянном ящичке на тонком шпенечке ходила металлическая стрелка. Под нею на донышке обозначены стороны света и знаки ветров: сивер — полуночник, меженник, зимняк, шелонник. Матку сделал Смирной собственноручно. Она помогала ему в плавании по озеру-морю.

Захар бережно разбирал все, что хранилось в рундучке. Искал — не завалялось ли чего съестного. Ничего не нашел. Все же подошедшей невесте сказал ободряюще:

— Не унывай. Денек-другой протянем. Гляди-ка, у нас и мережа есть.

Но мережа не понадобилась. Дарья пошла побродить по острову и вдруг издалека закричала:

— Иди сюда, иди скорее!

Смирной прибежал и увидел, что весь наветренный берег серебрится от рыбы. Дарёнка в первый раз за эти сутки рассмеялась. Обрадовалась находке. А рыбак загрустил. Значит, до дна разбушевалось озеро, если из глубины выбросило рыбу. Такое даже на Ладоге случается не часто.

Ушица на костре поспела скоро. Жаль только, что хлеб в Дарьином узелочке размок и превратился в кашицу.

На Зеленце полно было сизой, налитой голубики. Желтая, как янтарь, костяника светилась в неглубокой пади. Нетронутые грибные полянки нашлись в низине.

Думали, что бедовать на острове придется «денек-другой». Восемь суток выла буря на Ладоге, держа в плену Захара и Дарёнку.

Согревались они у костра, где не переставая берегли огонь. Были сыты. Только стосковались по черному хлебцу.

На девятые сутки Смирному показалось, что ветер чуточку затих. Он начал просматривать, не рассохлась ли лодка. Снова все уложили в рундук, приготовили парус.

Ждали, когда стемнеет. В ночные часы озеро обычно штилюет и даже в крутой шторм ветер хоть немного спадает. Проглянула луна — то покажется, то спрячется в тучах.

— Поспешим, Дарёнушка, — сказал Захар и столкнул свирянку.

Волна ударила ее в скулу, чуть не выбросила обратно на берег. Но рыбак выровнял лодку.

Решили пробиваться не к Ледневу, а поближе, к деревне Кобоне. Гребли долго и трудно. Дарье казалось, что свирянка совсем не двигается с места, волны упрямо не пускают ее к родимой матерой земле.

То ли глаза привыкли к темноте, то ли засветало, Дарья разглядела впереди какое-то строение и обрадованно крикнула:

— Это же кобонские хаты. Берег вижу.

На отмели вода не так бушевала. Захар вгляделся, сказал:

— И правда, берег. Только это не хаты.

Теперь можно было ясно различить широкую хлебную барку. Ее вынесло на камни и разломило. На палубе громоздились лопнувшие мешки с мукой. С осевшей кормы головой в воду свесился шкипер; его, наверно, убило рулевым брусом.

Дарёнка отвернулась, чтобы не видеть мертвеца. Вдруг лодку так толкнуло, что она чуть не раскололась. Захар отбивался веслом от наседавших бревен. Здесь же, на отмели, разбило плот с адмиралтейским лесом.

Так, вместе с бревнами, и вынесло полузатонувшую свирянку на берег. Добрались до крайней избы. Рассказали о погибшей барке. Отогрелись.

В Леднево пришли пешком. Бабушка Стеша со слезами, с причитаниями кинулась к внучке:

— Мы уж не чаяли вас живыми увидеть!

Захару погрозила маленьким, крепким кулаком.

В Ледневе долго еще говорили о том, как сговор чуть не обернулся поминками.

В горнице Захар застал Ивана Круглого с женой. Строгая Анастасия, высокая, повязанная черным платком, совала ухват в печь.

Иван, мрачноватый, с глубоко запавшими висками, сидел за непокрытым, добела скобленным столом и тихо беседовал с мужиками. Открылась дверь, он замолчал. И снова заговорил вполголоса:

— Ведаете ли, что давно уже привезены на трех кораблях знаки, чем людей клеймить. Стоят те корабли у Котлина острова, никому их не кажут и за крепким караулом содержат... А клейменых будут в работу ставить у нас на Ладоге... Сказывают, собираются канавой озеро окопать. И нас всех, стало быть, клеймить будут...

На Захара Круглóй покосился. Дарью подозвал, жесткой ладонью погладил по русой голове.

— Знак тебе подал господь. Денно и нощно молись, благодари за великую милость. Молись и разумей нетронутым своим сердцем.

Сказал и опять повернулся к почтительно ждавшим его слова мужикам.

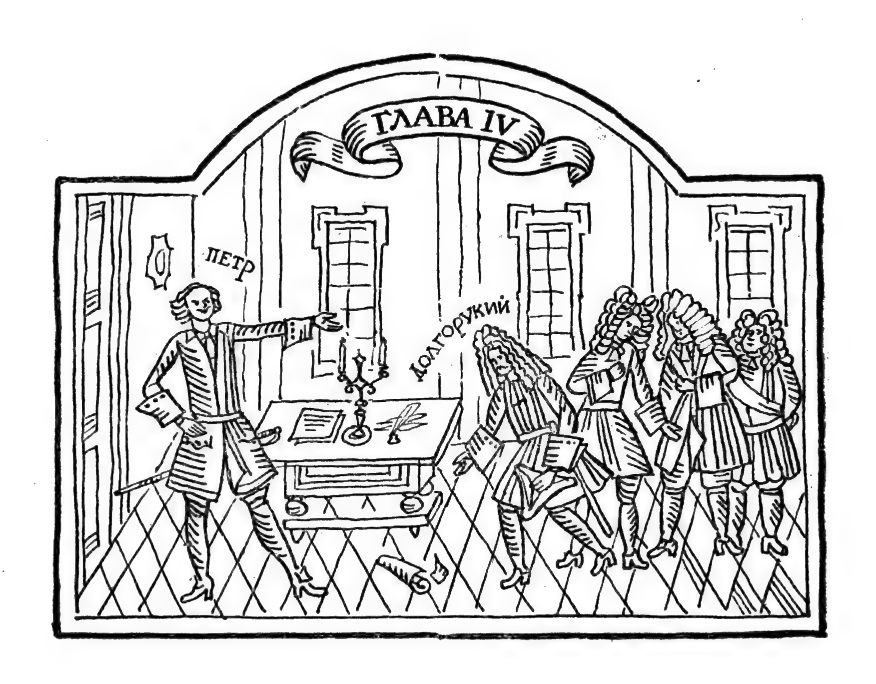
Молодой рыбак давно привык к недобрым пророчествам дяди Ивана, ожиданию конца света и всяческих бед на многогрешной земле. Привык и не верил ему.

...Но миновало время — Ивановы слова нежданно подтвердились. В Кобоне, Ледневе и других приладожских селах появились государевы люди. Вбивали колья, что-то размечали на земле. Собирались и впрямь копать.

От деревни к деревне поползли слухи о какой-то вольной работе. Что за работа такая? Значит, и клейма не напрасно припасены у Котлина острова. Зачем? Клеймить-то зачем?..

Непогода на Ладоге то затихала, то вновь крепла, ярилась еще беспощадней. Озерную дорогу перекрыла наглухо. С малыми просветами бушевать ей не дни, не недели — всю осень.

Так прогремела буря, которая докатилась до Питера тяжким «гладом и мором».



О НЕБЫВАЛОМ ПРОИСШЕСТВИИ В СЕНАТЕ

Петр Алексеевич ехал из Москвы в город на пороге моря, Санкт-Петербург.

Где бы ни находился «государь всея Руси», лазал ли с поверочной линейкой по стапелям в Воронеже, встречал ли иноземных купцов в Архангельске или в Преображенском, под Москвой, сжав зубы, слушал пыточные речи, поднятых на виску, — всегда и неизменно ждал возвращения в свой северный парадиз. Ждал как отдыха, как душевной отрады.

Ко всем чертям — отрада. Не будет ее. Не будет и отдыха. Хорошо знал это. Все же спешил.

Дорога была ужасной. Всего-то верст семьсот с гаком. А изломает, измучает хуже иной баталии.

Кучера размахивали кнутами, орали, по-разбойничьи свистели. На ямских станах лошадей, покрытых пеной,

прядающих ушами, сменяла новая подстава. И опять — гоньба, вопли и эта непереносимая тряска.

Время от времени Петр Алексеевич пересаживался в седло. Но очень скоро возвращался в кибитку. Сердито задергивал кожаную полость, ругался черными словами.

По краям дороги валялись мертвые лошади. Над ними кружилось воронье. Слегка подмораживало. Слава богу, распутица отходила. А то бы и вовсе не добраться до Питера.

Эту дорогу самые быстрые, посольские, кареты одолевали в месяц, а чаще всего в пять недель. Велено было исправить путь, выровнять его, спрямить бесконечные извивы и петли. Работу здесь начинали не раз. Сотню-другую верст пройдут, но в пределах Новгородчины непременно остановятся. Сквозь леса не пробиться, непроходимые, бездонные болота не загатить... Ну, дороженька. Страшнее шведа, хуже турка!

Петр Алексеевич толкнул плечом сидевшего рядом лейб-медика — царь поневоле давненько уже сдружился с лекарями.

— Послушай. Вот, скажем, сердце человечье. К нему и от него по жилочкам кровь течет. Я так понимаю? А ежели те жилочки обрубить. Что будет?

Лейб-медика совсем растрясло. Он ответил еле слышным бабьим, плачущим голосом:

— То и будет, ваше величество. Остановится сердце.

Государь уже не слушал лекаря. Он тыкал кулаком в наваченную, не без умысла, кучерскую спину.

— Полегче, ирод! Видишь, из человека душу вынул!

В новую свою столицу Петр Алексеевич прибыл засветло. Велел, минуя дворец, ехать в сенат. Разогнал всех свитских, всех денщиков — будить сенаторов.

Они являлись один за другим, позевывая, поправляя косо надетые парики, в мундирах, застегнутых через пуговицу. Однако ничуть не удивленные. Не впервой им было приходить на ранний государев зов.

Не умывшись с дороги, с лицом в грязных подтеках, закинув ногу на ногу, Петр Алексеевич сидел у стола. Он не стал ждать, когда все соберутся.

— По добру ль дошли караваны?

Все молчали. Кому охота быть недобрым вестником.

— Данилыч! — кликнул царь и повернулся к Меншикову. — Что скажешь?

— Самое малое число барок вошло в Неву, — тихо ответил губернатор санкт-петербургский, — ныне тыща судов легли на дно Ладожского озера.

— Тыща? — побелевшими губами переспросил государь.

Меншиков молчал, потупясь. Петр Алексеевич сцепил руки за спиной, носился от стены к стене конференц-зала. Голова наклонена, белки красные. Бык быком.

— Что делать? Что делать? — Не проговорил — проревел.

С сапогов на вощеный пол летели шматки дорожной глины.

— Что будем делать, господа сенат? Сидите! Думайте!

Дубовая дверь отлетела наотмашь, как ядром стукнуло. По лестнице прогремели тяжелые государевы шаги...

Легко сказать — тысяча судов потоплены в одну навигацию! А ведь с тех пор, как построен Питер, Ладожское озеро поглотило барок, тихвинок, соминок близко к десяти тысячам. С грузом и людьми.

Как мириться с тем? Невозможно мириться. Никто лучше Петра не знает, сколь обильно пролита кровь за выход России к морю. Значит, пролита напрасно? Санкт-Петербургу, новой крепости российской на крайнем западе страны, не расти, не жить? Город без подвоза задохнется, умрет, как сердце без притока крови. Подумать о том, дрожь берет. Но так и будет, если не проложить к столице надежный и верный путь, не одолеть это непомерно свирепое озеро-море...

Тревожная мысль о дорогах никогда не покидала Петра. Много лет искал, взвешивал. Воевал с оглядкой и строил с оглядкой на пути-дороги: как везти хлеб, порох, прочие припасы к сему месту?

Он постоянно видел перед собой Русь с ее беспредельными далями. Видел, как мало на этих просторах сухопутных дорог. А рек и речек — неисчислимое множество. Голубыми, льющимися потоками охватили они всю страну, извечно тянутся друг к другу, почти соприкасаясь верховьями.

Когда же Петр впервые подумал о том? В очень далекий, сумеречный день стоял он на берегу озерца Стерж, у каменного креста и старался прочесть выбитую на нем надпись: «6641 года, месяца июля 11 день почах рыти реку сию яз Иванко Павловиц, и крест сь поставих».

Кто он, Иванко Павлович? Только и ведомо, что был сыном Ладожского посадника. Чего он хотел? Многого: связать Новгород с Волгой через Полу и Ловать. Для этого сооружал запруды, копал русла. Год на стерженском кресте

обозначен по старинному летосчислению. По-новому будет — 1133. Как давно!

Русские люди с незапамятных времен странствовали от моря к морю по рекам. Добирались до верховья, а дальше тянули свои ладьи посуху, волоком, до притока другой реки. Снова и снова плыли ладьи...

А если те волоки прокопать, пустить по новому ложу воду? Вся Русь будет соединена самой легкой, самой дешевой дорогой!

Конечно, всего больше государя привлекали пути от Черного моря к Балтийскому. На одном еще сильны были турки, на другом властвовали шведы, а Петр уже посылал верных своих людей, знатцев и умельцев: пусть посмотрят, где сподручнее от Волги проложить путь к Неве. И рыть уже начали, и бейшлоты ставить.

Но началась война, которую позже назовут великой Северной. После первых поражений пришли первые победы. Водный путь из глубин России к Балтике — «работа канальная» — стала неотложной, делом жизни и смерти.

Худо то, что задуманное Петром, как назло, оказалось попервоначалу в дурных руках. Немецкий полковник, тянувший канал от Дона к Волге, ничего путного не построил и бежал из России.

Всего важнее были работы у селения Вышний Волочек, где копали древний волок от волжского притока Тверцы к речке Цне. Здесь открывался путь через Мсту, Ильмень-озеро, Волхов и Ладожское озеро в Неву. Копать начали в один год с основанием Петербургской крепости. Работали голландские мастера.

Рыли, строили шесть лет. Первые суда из Волги в Неву прошли вешней водой. Но вскоре оказалось, что канал прорыт без должного разумения. Он начал мелеть, плохо укрепленные берега обваливались. Часто случалось — суда не успевали до морозов пройти весь путь, зимовали на приколе.

Спасибо новогородскому мужику Михаилу Сердюкову. Взялся он исправить Вышневолоцкий канал. За работу принялся умело, ухватисто. Петр верил Сердюкову: все приказанное исполнит.

Но ведь и по Вышневолоцкому пути барки дойдут до Ладоги, а здесь шкиперам полагаться на милость божию? В бурном Ладожском озере гибли целые караваны. Волжское верховье, неглубокие реки на водоразделе могли пройти толь-

ко плоскодонные легкие суда — карбусы, полукарбусы, водовики, соймы. В озере-море при большой волне они тонули. Приходилось на пристанях паузить — перегружать грузы. Навигация замедлялась, а то и вовсе останавливалась.

Давно уже строгим указом запрещено судам старой постройки выходить в озеро: «а буде, кто станет такие суда вновь строить, и те люди истязаны и штрафованы будут жестоко». Разрешалось плавать Ладогой лишь более надежным «новоманирным» тялкам, эверсам, шхунам.

Заведомо знали — ими все грузы не поднять. Шли в озеро на чем придется. Шли, разбивались, гибли.

Выход был только один. Бесконечно трудный. Но другого не дано. Петр решил обойти озеро. От устья Волхова до Невы прорыть обходный канал. Такого еще не бывало. Предстояло самое большое строительство в России после основания Петербурга и Кронштадта.

Гордые планы Петра, судьба российского флага в балтийском поморье, надежды на выгодную торговлю с Европой и само существование новой крепости и столицы — решительно все решалось на полуденном ладожском берегу.

Не было для Петра такого вопроса: строить или не строить обходный канал? Думал об одном: как строить?

Земли будущего канала впервые царь Петр прошел в начале шведской войны, когда вел гвардейские полки с севера. Да и позже весь этот край исходил, изъездил. Он сам вычертил линию, где должно лечь новое русло, — в низинах, через болота, повторяя очертания озерного берега. Длина канала будет поболее ста верст. Ширина — десять сажен.

Как строить? Суровый государь умел впрягать Русь в оглобли своих замыслов. Мужик сдюжит. Поворчит, а сдюжит. В крайнем случае, придется срубить молодой лес на батоги. За тем дело не станет...

Все это — чертежи и бумаги с первыми расчетами — Петр вывалил на стол сената. Присоединив лист, озаглавленный скромно: «Мое мнение».

Мнение было такое: распределить будущую работу по дворам, посадам, городам. Пусть шлют работных людей.

И посыпались в ту злосчастную осень указ за указом.

В сентябре:

«Понеже всем известно, какой убыток общенародный есть сему новому месту от Ладожского озера, чего необходимо нужда требует, дабы канал от Волхова в Неву был учинен.

Того ради оную работу, яко последнюю главную нужду сего места немедля начать, и у работы того канала быть работникам со всего государства».

В ноябре:

«...оное канальное дело делать подрядом и для того с дворцовых, с патриарших, монастырских и с помещиковых... с дворового ж числа собрать деньгами по 23 алтына, по 2 деньги с двора».

То работные требовались. То деньги.

Меж тем в сенате произошло событие вовсе небывалое. О нем и говорить побаивались.

Один из указов, по которому канал должны были строить работники, присланные со всех городов и деревень, а прежде всего — губернии Петербургской, также из Новгородчины, — этот указ был принят и подписан Петром.

Сенатор и председатель ревизион-коллегии Яков Долгорукий тогда в сенате отсутствовал. На другой день, по положению, ему дали прочесть указ.

Обе губернии, Петербургская и Новгородская, были вконец разорены войной. Многие деревни вымерли. В остальных почти все мужики — под ружьем или на государевых работах. Сенаторы знали об этом, но никто не посмел перечить царю.

Яков Долгорукий прочел указ и в порыве гнева... разорвал его. Никогда еще в стенах торжественного конференц-зала не раздавалось таких воплей. Еще бы. За меньшее люди платили головой. А тут разорван царский указ с собственноручной подписью...

Кто же он, Яков Долгорукий? Смелость этого человека была известна всей России вот по какому случаю. В бою под Нарвой он попал к шведам и пробыл в плену десять лет. Однажды около сорока русских пленных должны были перевезти на шхуне в крепость Готтенбург. В открытом море Долгорукий поднял своих товарищей на мятеж. Они голыми руками обезоружили охрану. Долгорукий приставил шпагу к груди капитана и велел:

— Вези нас в Ревель!

Шхуна вошла в гавань с пушечной пальбой...

В сенате Яков Долгорукий славился тем, что не боялся спорить с царем. И все же ничего похожего на происшествие того дня не случалось.

В самую горячую минуту спора в зал вошел Петр и во всю силу легких рявкнул:

— Чего шумите?

В полной тишине ему подали разорванный указ. Лицо царя побагровело. Зловеще дернулась щека. Сказал тихо:

— Преступление неслыханное.

Долгорукий встал, тронул свои вислые усы и спокойно объяснил, в чем дело. Виноватым он признал себя только в том, что «не стерпел».

Петр сказал, все так же не повышая голоса:

— Я это дело еще рассмотрю...

В декабре сенат «выдал в народ» новый, последний в 1718 году указ о Ладожском обходном канале: по всему государству вызывались к озеру «охочие люди». Помещикам велено давать им паспорта, а на заставах — пропускать беспрепятственно.

«Никому на той канальной работе ни в чем никакой неволи и обиды не будет, — говорилось в указе, — и по уговору их за работу посаженно, кто сколько похощет сделать, так же и за другие при том работы деньги плачены будут...»

Государь понял правду слов Долгорукого. Сделал по его совету. Но долго еще при встрече с сенатором сердито хмурил брови.

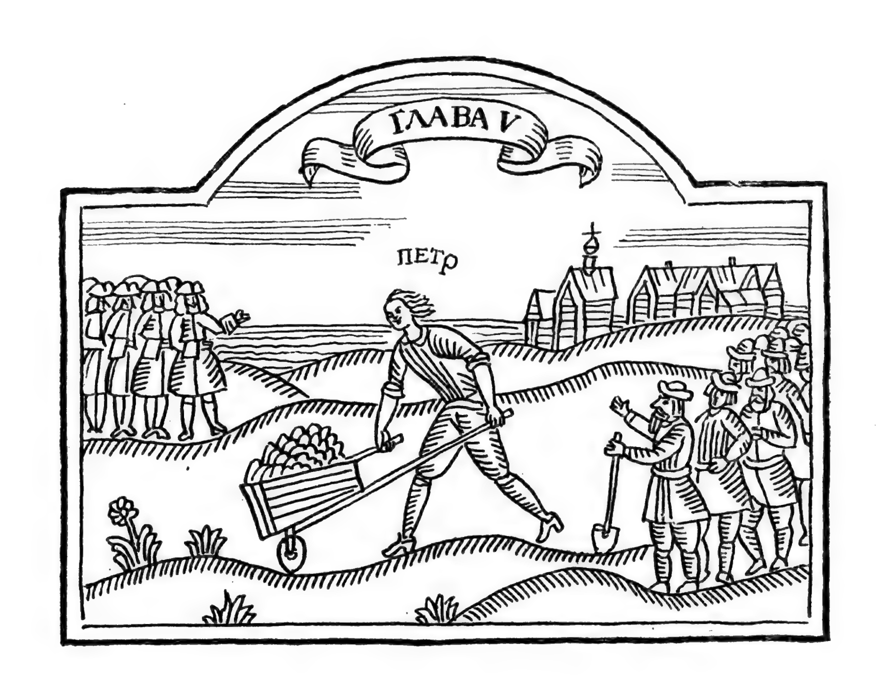
Листы с указом были прибиты повсюду у городских ворот, а по селам — в церквях.

Деревенский люд толпился у тех листов, гуторил, сомневался.

Что за вольное канальное дело? Всегда взашей гнали на городовую работу. А тут и слова какие-то непривычные: по уговору, без неволи, без обиды.

Нет ли какого подвоха?

От сената, от царя добра не ждали.



О ЗАЧИНЕ НА ВОЛХОВСКОМ УСТЬЕ

В мае 1719 года, едва солнце отогрело землю, невдалеке от Новой Ладоги начали рыть канал.

Городок Новая Ладога своими деревянными домишками и узкими улочками раскинулся на самом устье Волхова. Городок всего на год моложе Петербургской крепости. Называется он Новой Ладогой в отличие от другой Ладоги, которую теперь именуют Старой. Она в десятке верст выше по течению Волхова. Старая Ладога, по летописям, — один из первых городов на Руси. Здесь тысячелетняя тишина лежит на боевых камнях древних стен, на зеленеющих скатах Олегова кургана.

Новая Ладога открыта всем ветрам с озера, по-молодому неугомонная, голосистая. На берегу шумит торжище. У пристаней качаются корабельные мачты, то голые, то одетые в паруса, снаряженные в путь. Город купеческий, шкиперский, а с этой весны — работный. Здесь начинался канал.

Первую тачку наполнил землей сам Петр Алексеевич. Делал он это весело. Скинул камзол, засучил рукава, поплевал на ладони. Всадил лопату в землю во весь штык, крякнул, рванул, затрещала дубовая рукоятка. Глина посыпалась в тачку. Наполнил ее щедро, с верхом. Покатил по настилу к тому месту, где до́лжно насыпать плотину.

На второй тачке государя прошиб пот. Он не сдавался — надо показать, какой мерой брать землю. Перемазался в глине, хотел смахнуть пот со лба, остался темный след, наискосок от брови к брови.

Толпу крестьян, приехавших из недальних сел — кто взглянуть на царя, кто наниматься, — облетел веселый говорок. Иван Круглой и его юный родич Захар стояли рядом, тянули шеи, стараясь все разглядеть.

— Это же не тачка — воз, — удивился Захар, — мне такую не свезть.

Иван ничего не ответил, насупился. Захар, понизив голос, заметил:

— Работящий царь, ничего не скажешь. Даром хлеб не ест.

Петр Алексеевич сел на пенек. Тяжело перевел дыхание. Рубаха на спине намокла, прилипла к лопаткам.

За тачки ухватились господа генералы, всякие чины, сенатские, коллежские.

Рыбак не сдержался, тихонько хохотнул. Мужики в толпе ухмылялись. Петр Алексеевич от смеха чуть с пенька не свалился, тычет пальцем в мундирных землекопов. У одного треуголка сползла с лысой головы, другой всадил заступ в грунт и никак не вытащит, третьему тачку с места не сдвинуть. К этому подоспел десятский: «Посторонитесь, ваша светлость», — легко двинул тачку. «Светлость» ручкой в перстнях придерживает тачку, поспевает рысцой. Заметил, что государь весел, старается, чтобы посмешней вышло, взбрыкивает ногами в узких штиблетах. Забавней шутовского действа!

Круглой смотрел на все неодобрительно, однако с любопытством.

На широченное волховское устье, слитое с неоглядной далью озера, на свежерубленые хаты и наскоро сложенные шалаши, беспорядочно заполнившие луговину до самого леса, легли по-весеннему прозрачные сумерки.

Иван забеспокоился:

— Припозднились мы с тобой, Захарка. Эх, припоздни-

лись. Все ты. Я бы сюда — ни ногой. Ты пристал: взглянем да взглянем... Ночной час — недобрый. Неужто ехать?

С трудом разыскали среди множества телег свою. Сняли путы со стреноженного коня, запрягли его. Иван нерешительно тронул вожжи.

У Захара не проходило какое-то диковинное ощущение праздника. Уйма людей вокруг, зачин дела, еще непонятного, но ощутимо огромного, обещающего перекроить все вокруг, всколыхнуть тишину межозерья, — все это веселило, хмелем бунтовало душу. Позднее время не печалило молодого рыбака.

— Да здесь и переночуем, — беззаботно отозвался Смирной. — Эй, мил-дружок! — окликнул он человека, который, по-медвежьи загребая ногами, шагал навстречу.

— Это я тебе-то мил-дружок? — неприветливо проворчал тот, не останавливаясь.

Теперь можно было разглядеть, что он невысок ростом, но в плечах такой широкий, что казался квадратным. Все на нем было рваное: и поддевка, и домотканые штаны, и даже онучи, стянутые лыком.

— Будь ласков, — пряча улыбку, попросил Захар, — скажи, где бы нам до утра обогреться, коней покормить?

Должно быть, встречный приметил непочтительность. Сердито бросил:

— Отколь мне знать... Разве что к воеводе пожалуйте. Там лапотников плетьми привечают...

Протопал мимо. Отошел недалеко и через плечо крикнул:

— Чего стали? Заворачивайте.

И зашагал, уже не оглядываясь.

Иван и Захар торопливо развернули своего чалого. Догнали сердитого мужика. Он исподлобья покосился, сел в телегу, сразу накренив ее. Молча взял вожжи из рук Ивана. Лошадь пошла быстрей.

Ехали долго. Сквозь деревья проблеснул Волхов, и опять — елки, да березы, да мшанники, да косогоры. Новый знакомец бросил вожжи.

— Приехали.

Показалось Захару, остановились посреди леса, сильно изрытого, с невысокими холмами. Не сразу разглядел, что в тех холмах местами оконца чуть светятся, а подальше колодезный журавль виднеется, то здесь, то там среди деревьев неярко горят костры. От одного из них крикнули:

— Егор, валяй к нам греться!

— Недосуг, — отозвался квадратный мужик и пояснил приезжим: — Вот это и есть наша деревня, тут землекопы живут. Слезайте.

По выбитым ступенькам спустились вниз. Скрипнула дверь. В землянке было душно. Захару все что-то под ноги попадалось. Егор постучал кремешком. Зажег смолистый светец над долбленым корытцем.

Землянка оказалась набитой людьми. Они похрапывали на нарах и на полу, на соломе.

— Торба у тебя богатая, — Егор ткнул пальцем в мешок на плече у Ивана, — покажь!

Круглой достал привезенные из Леднева припасы: сало, творог, початую краюху.

Хлебный дух растревожил спящих. Они поднимались, кряхтели, тянулись к Ивановой торбе. Руки были грязные, пальцы скрюченные. Еду запивали из глиняных жбанков.

— Водица вкусная, колодезная, — потчевали землекопы.

Иван почти не ел, а пил из горсти. Зато Захар уплетал усердно, одним духом ополовинил жбанок.

— Как у вас тут? — расспрашивал рыбак землекопов. — Кого в работу пишут?

— Больно уж ты спрашивать горазд. — Егор от еды подобрел, и даже голос у него стал мягче. — Дозволь и нам спросить. Как звать тебя?

— Меня — Смирной, а родич мой зовется Круглой.

В землянке засмеялись. Очень уж не подходило прозвание к худому, как жердь, Ивану.

— Шуткуешь? — спросил кто-то.

Захар промолчал. Ответил Иван:

— То дьяк пошутил.

История, вслед за тем рассказанная Иваном, была простая. В серпуховской деревне, как и почти повсюду, мужики жили и умирали бесфамильными. Село дальнее, обиход немудрый. Жили здесь Митьки, Гришки, Никитки. Чтобы с человека барщину потребовать, либо за леность кнутом поучить, либо очень уж непокорного в солдаты сдать, фамилия не очень нужна.

Только однажды пожаловал в деревню приказной дьяк — податную роспись делать. И оказалось, больно уж много тезок. Дьяк запутался, осерчал. Чтобы как-то разобраться в росписи, он, не раздумывая, наградил всех односельчан

кличками. По внешним приметам, по кажущемуся характеру, а то и в насмешку. Лысого называл Кудрявым, тощего — Круглым.

Так и появились в вотчине Босые, Кривые, Смирные...

История, в общем-то, довольно обычная. Землекопов же развеселила хлесткость дьяковой шутки.

Егор выбил из светца обуглившуюся лучину, запалил новую. Долго и усердно раздувал огонь. Волосы, лихим чубом закрывавшие лоб, разлетелись и открыли синий, глубоко выжженный шрам.

Иван выпученными глазами уставился на этот шрам. Мелко-мелко закрестился, пробормотал:

— Чур, чур меня.

На карачках пополз прочь. Зашептал на ухо Захару:

— Клеймят. Я ж тебе говорил — тут антихристовым клеймом прижигают.

Должно быть, Егор услышал. Он поплевал на пальцы, пригладил чуб и спокойно объяснил:

— Никакое оно не антихристово. Это меня за разбой пометили... Ну, то дело прошлое.

Помолчал, присматриваясь к Ивану.

— А ты, брат, двуперстьем крестишься. Да и брезглив больно. Раскольник, что ли?

Круглой не ответил.

Говор в землянке затихал. В корытце шипел смолистый огарок. Из оконного проема дул прохладный ветер. Захар повернулся к нему всей грудью. Он долго смотрел на звезды, не очень приметные на светлом небе.

Едва забрезжило утро, Круглой разбросал поудобней сено в телеге: до Леднева тащиться — растрясет. Окликнул Захара:

— Поехали!

Смирной подошел, положил руку на грядку и сказал решительно:

— Я здесь останусь.

Иван задохнулся от неожиданности, от злости.

— Рехнулся ты. Право, рехнулся.

— Послушай, — рассудительно проговорил юноша, — свирянку мою вконец разломало. Какой я теперь рыбак?.. А тут — работа. Поищу-ка и я свою долю... Дарёнке скажи: осмотрюсь и к свадьбе за ней приеду. Степаниде Федоровне поклонись, пусть не осудит...

У Ивана тряслись губы. От обычной степенности и следа не осталось. Голос срывался:

— Отступник, ирод, антихристово семя! Не поедет к тебе Дарья. Видит бог, не поедет... Сам на греховную стезю ступил и чистую отроковицу за собой тянешь. Не бывать тому. Забудь Дарью!

Не впервые Захар слышал Ивановы угрозы, отнесся к ним насмешливо.

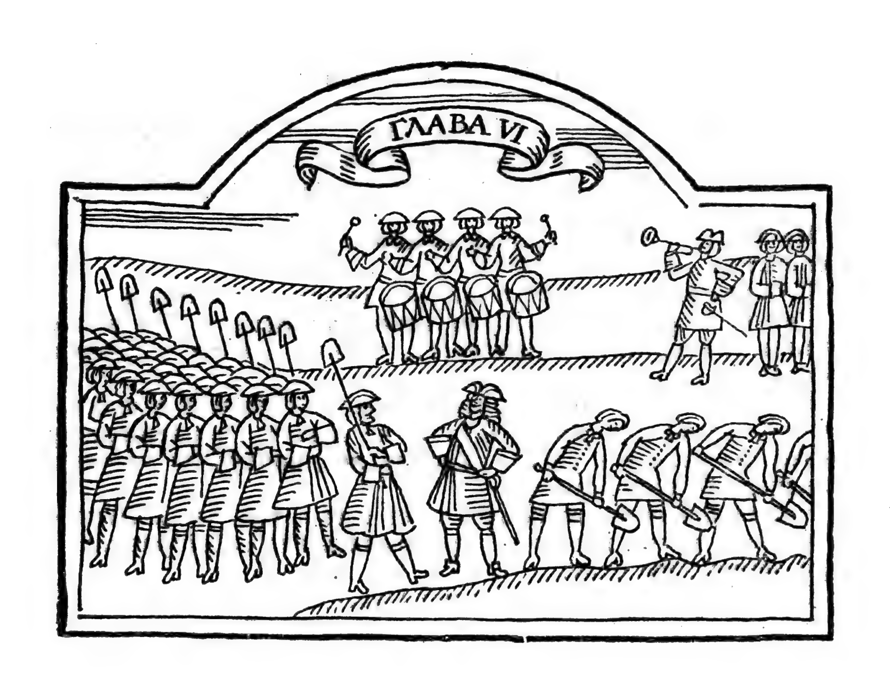
Круглой вытянул чалого кнутом. Телега загрохотала.

Ранние зори чуть тронули небо над лесами. По земле стлался туман. Артель землероев, подняв лопаты на плечи, уходила на ближнюю перекопь...

В то лето на начинающемся Ладожском канале, в просторечии — на канаве, много сделать не успели. По-настоящему только готовились к работе. Валили лес, прорубали просеки, размечали будущий путь.

Неторопливость эта объяснялась еще и тем, что в Питере на какое-то время перестали чувствовать над собой размашистую петровскую руку.

Петр Алексеевич увел полки в Персидский поход.



О ВЕСТЯХ, ЧТО ДОЛЕТЕЛИ С БАЛТИКИ НА КАСПИЙ

За работой на российских озерах и реках внимательно следили иноземные послы. Они понимали, что задуманное дело сразу двинет вперед русскую коммерцию.

После войны, длившейся два десятка лет, северная страна снова вступала в битву. Только теперь не мушкеты, а лопаты и топоры в ходу. Кто знает, не должно ли эту битву, если и в ней будет одержана победа, поставить в один ряд с Нарвской викторией, Гангутской, Выборгской...

Несколько лет назад о поисках речных путей к Санкт-Петербургу английский посланник доносил в Лондон:

«Прорыт канал между двумя речками неподалеку от Новгорода, и небольшой бригантин прошел этим путем из Казани, пробыв в пути два года».

Слов нет, сообщение успокоительное. Дорога, отнимающая два года, — не дорога.

Но теперь с берегов Невы в европейские столицы летели депеши совсем иные.

Французский полномочный министр писал в Париж, что в скором времени русские корабли будут строиться дешевле и быстрее. По каналу на адмиралтейские стапели двинется лес из дальних губерний.

Прусский посол уведомлял своего короля:

«Ладожский канал бесспорно послужит к процветанию Петербурга и его торговли».

Наконец и английский король получил вполне определенное и точное сообщение: на строительство Ладожского канала «заготовлено 1 200 000 рублей, и 20 тысяч человек примутся за работу, как только позволит погода».

Между строками донесений явственно читалось: работа на Ладоге нелегка. Как и в любом сражении — впереди неведомое. Победа не предсказуема...

Следующая весна застала великое множество крестьян и солдат в трудах на озерном прибрежье.

Подряд на постройку канала взяли петербургский посадский человек Василий Озеров и москвитин «Яков Попов с товарищи». Они приготовили тысячи топоров, кирок, лопат, тачек.

К новопостроенным казармам на озере тянулись обозы с мукой, крупой, мясом, солодом, солью для продовольствия работных. Новоладожские кузнецы сделали десять, а потом еще двадцать машин для отлива воды. На немереном пространстве были вырублены леса для свай и фашин.

Подрядчики набрали несколько тысяч бурлаков [1], не слишком допытываясь, откуда они пришли и есть ли на руках паспорта. Людей не хватало.

Надо было рыть канал быстрей, чтобы выиграть время. Несмотря на военные обстоятельства, Петр Алексеевич оставил на канале солдат, зимовавших в Приладожье. Мало того — вернул из похода и направил «на канаву» еще несколько драгунских и казачьих полков. В 1721 году на озере работали 27 тысяч солдат, в следующем году — еще больше.

Канал строила вся Русь. Не руками, так деньгой. К неисчислимым налогам и поборам — поземельному и весчему, помéрному и пчельному, трубному — с каждой печи — и

[1] Бурлаками в ту пору называли крестьян, уходящих из села на заработки.

привальному — с судов, «за черные глаза» — с мордвы — и поддужному — с ямских возчиков — прибавился еще один — канальный.

Алтыны и гривны, выжатые, выбитые, пропахшие потом, «наискорее с поспешанием» слали в Новую Ладогу.

От зари до зари на канале поднимали землю, вбивали сваи, берега крепили фашинником. Копальщики вскидывали лопатами грунт. Захлебывались в воде, отводили ее. Подрядчики вели точный счет. С каждой вынутой кубической саженью земли в их мошне прибавлялись 1 рубль, 16 алтын, 2 деньги.

Не считали только мертвяков. От тяжелой работы и несытой еды, от гнилого болотного духа начались повальные смерти. За весну и лето полки убывали больше чем на половину. Ни в каком бою, даже самом кровопролитном, не теряли столько солдат. Покойников зарывали в плотину. Так первые версты канала стали сплошным кладбищем.

Петру Алексеевичу не писали о том. Да он и не спрашивал, много ли гибнет народа. Каждый курьер, примчавшийся из армии, вез в Петербург государевы письма. В них всегда повторялся один вопрос: «Далеко ли ушли на Ладоге?».

И ответ был постоянно одинаковый: столько-то земли вынуто. На столько-то верст продвинулись.

Петр Алексеевич посылал на копальные работы все новые полки. За Ярославским — Тобольский, за Олонецким — Ингерманландский. Драгуны, копейщики, рейтары становились землекопами, плотниками, водоливами.

Утешительно то, что теперь уже явственно видится окончание работ. Наконец-то удастся справиться с озером-губителем. Пойдут суда в Питер без опаски.

Из похода государь шлет указ, в каждой строке которого — нетерпение и радость содеянного:

«Понеже всем известно о строящемся вновь Ладожском канале, который ныне приходит в отделку и в будущем 1722 году надеется быть весь отделан, того ради всем промышленникам свои суда к будущей весне иметь все в оснастке к водяному ходу, как надлежит».

На похвалу Петр Алексеевич не щедр. Нынче же не нахвалится тем, кого оставил на Неве как правую свою руку, ведущую и карающую:

— Ай да Алексашка. Истинно, верный друг, сердечный друг!

Всей России ведомо, что в Ладожском канальном деле главенствует собственной персоной губернатор санкт-петербургский, князь Ижорской земли, светлейший Александр Данилович Меншиков.

...Холщовая палатка под орленым верхом была разбита на самом берегу Каспийского моря. Для Петра Алексеевича нет более сладостной музыки — слушать бы и слушать, как накатывают волны, отступают, волоча песок, камни, и снова, вскидывая брызги, бьются о берег.

Отныне город Дербент и с ним знатный кусок каспийского побережья — под российским флагом. Петру Алексеевичу мнились торговые караваны на путях в Индию. Теперь и восточная торговля не обойдется без посредства России. От того видится немалый прибыток...

Однако все чаще и чаще мысли уводят государя на далекий север. Видит бог, как грустно без родных перелесков, без замшелых болот и широких, спокойных рек. Далековато же отсюда до белых рощ Руси-матушки.

В палатке на столе, грубо сколоченном из неободранных досок, — ворох бумаг. Широкие смуглые ладони прижали листы, затрепетавшие под внезапным порывом ветра. Полог палатки развернулся и хлопнул с силой выстрела.

Снова тишина за холщовыми стенами. Снова Петр Алексеевич седлает свой широковатый, короткий нос очками. Сразу становится старше на много лет — под грузом забот боевых, строительных, торговых.

Из Питера — добрые вести. Отменно, что завершается Ладожский канал. Пойдут по новому пути суда — камень с плеч долой.

Глаза скользят по строкам. Свинцовый карандаш с разбегу рвет бумагу. Самодержец всероссийский раздает всем сестрам по серьгам: адмиралтейским мастерам за новый фрегат, поставленный под паруса, — царское спасибо, пензенскому воеводе, лихому мздоимцу, — кнут и каторга; светлейшему Данилычу за неусыпные труды — еще одна деревенька с мужиками на ораниенбаумском берегу...

Все-таки до чего же алчен светлейший! Поди, во всей Московии богаче его человека нет. До каких пор петровские праздники будут греметь под сводами меншиковских палат? У самого царя в Питере таких нет. Ну, да пусть Данилыч берет еще деревеньку. Ничего не скажешь — заслужил.

А это что за писание? На разграфленной бумаге. С

иноземной печаткой. Это опять «арап» пишет из Парижа. Наверно, письмишко давно уже лежит нераспечатанное. Все некогда... Ага, прижало-таки с деньгами черного крестника. Пусть, пусть едет в Петербург. Инженеры там во как нужны.

Торопливо, разбрасывая строки вкривь и вкось, Петр Алексеевич пишет канцлеру Головкину:

«Писали сюда из Парижа Абрам арап, Гаврило Резанов и Степан Коровин, что они по указу в свое отечество ехать готовы, только имеют на себе долгу каждый ефимков по 200, да сверх того, им всем надобно на проезд 300 ефимков. Того для те деньги... взяв от соляной суммы переведите в Париж...»

Петр Алексеевич кликнул денщика. Велел отправить письмо с нарочным. И опять — бумаги, бумаги. Рапорты о судах, приплывших в новооткрытые порты на Балтике. Доношения прибыльщиков о налогах, столь скудно пополняющих казну. Роспись чинам по табели о рангах. То дело важнейшее. В военной службе — от фендрика до фельдмаршала, во флоте — от констапеля до генерал-адмирала, в гражданской службе — от коллежского комиссара до канцлера. Первым восьми рангам дать дворянство. Петр Алексеевич подчеркивает последнее слово и пишет крупно, отчетливо через весь лист: «во всех достоинствах и авантажах... хотя бы они и низкой породы были».

Снова, снова бесчисленные запросы. Из юстиц-коллегии — о ссылке провинившихся матросов на галеры, из берг-коллегии — о разрешении уральским заводчикам покупать крестьян для молотовой работы, из ревизион-коллегии — об открывшейся недостаче по вотчинному управлению...

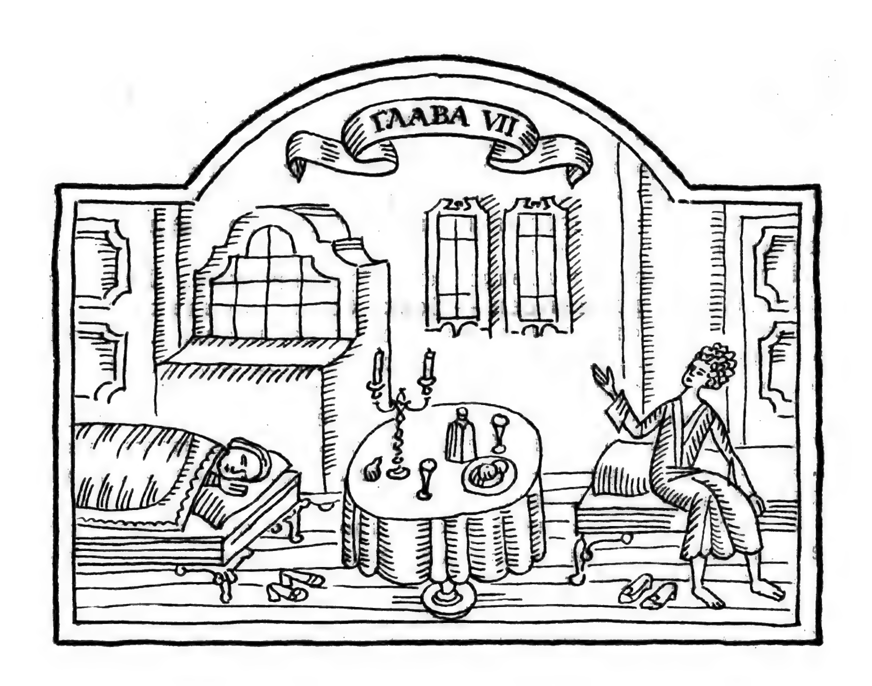
Да что они там, в столице, без петровской указки шагу ступить не смеют... Все напутают, переврут...

Гигант с седеющей головой, с приметно погнувшимися широченными плечами поднялся из-за стола, крепко растер лицо, крякнул далеко слышным рыком.

Пес-волкодав, дремавший в углу палатки, вскочил со вздыбленной шерстью. Гигант отбросил его пинком.

Южное море вкрадчиво плескалось теплой водицей.

Надо было ехать домой. Как можно скорей. Не медля. Тотчас.



О ГОДАХ УЧЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО АФРИКАНЦА

Петровским волонтерам в веселом городе Париже приходилось туго. Добросовестных учителей находили с трудом. Большей частью сами упражнялись в науках. Вечера проводили в поисках нужных книг. В русском посольстве о них вспоминали изредка. А в Петербурге, кажется, и вовсе забыли.

Миновало всего несколько месяцев парижского житья. Волонтеры отправили «слезницу» самому Петру:

«...молим всепокорнейше о призрении нашего убожества и определить своим государевым жалованием, которым бы нам мочно прожить здесь без долгов. Истинно, яко самому богу доносим, что в сих странах не можно прожить двемя стами сорокью ефимками французскими, без всяких прихотей».

Среди подписавших «слезницу» был «Абрам, арап».

Удивительно, как при скудных подачках волонтеры умудрялись не только учиться, но и бывать в знатнейших салонах,

тщательно скрывая собственноручные заплаты на штанах и продранные локти мундиров. В юности тяжкой ноши не бывает. В Петербург слали трогательные мольбы, а жили хоть голодновато, но беспечально.

Абрам Петров дружил с Гавриилом Резановым, юношей из дворянской, не очень богатой семьи. Он в Париже тосковал по маменькиным пирогам и никак не мог привыкнуть к чужеземной невкусной еде.

Гавриилу трудно давался французский язык. Петров же освоил его в первый месяц — бойко болтал в «манжерушках» и даже ловко отпускал комплименты парижанкам. По этой причине Резанов на первых порах шага не мог сделать без своего черного приятеля.

Они вместе слушали лекции, вместе читали книги, вместе бродили по набережным Сены. Остальные волонтеры знали: если появился «арап», — значит, где-то здесь поблизости должен быть и «Гаврюшка-толстячок».

У этих столь разных парней было одно общее увлечение. Вернее, оно, это увлечение, возникло у Петрова, и он позже сумел передать его другу.

Богом фортификации они называли Вобана. Впервые об «атаке Вобана» услышал «арап» от своего крестного отца Петра Алексеевича. То, что он рассказал, было захватывающе интересно, хотя речь шла о том, как надо брать крепости, как в бою рыть апроши и подавлять противника огнем.

Вобан участвовал в осаде множества крепостей. Больше тридцати основал самолично. И почти все старые французские крепости были им перестроены.

Петров пережил настоящее горе, когда, приехав в Париж, узнал, что всесветно знаменитый инженер, маршал Франции Себастьен ле Претр Вобан, некоторое время тому назад скончался. Но оставались его книги. И волонтеры корпели над ними, изучая одновременно французский язык и планы бастионов, по мысли Вобана, главнейшее в фортификации.

Еще изучали они гидравлику: как строить плотины и улучшать ход рек. Науку мудрую, увлекательную. Но так как в инженерских трудах все начинается с математики, то больше всего времени друзья отдавали ей.

«Арап» легко справлялся с любыми задачками. Недаром его первым учителем был все тот же крестный отец, суровый и гневливый, но очень расположенный к нему.

Жили волонтеры дружно. Продолжалось это до одного далеко не прекрасного дня, когда приятели поссорились, и при горячности «арапа» ссора чуть не перешла в потасовку.

Шел второй год пребывания их во Франции. Как-то бессонной ночью Петров сказал своему товарищу:

— Растолкуй, толстячок, чего ради мы приехали в Париж?

— Ворчишь, чертушка, — отозвался со своей койки Резанов.

Он только что начал дремать и отпустил «черта» в знак недовольства. Впрочем, это не было ругательством, а всего лишь платой за «толстячка». Они часто так подтрунивали друг над другом. В сносном настроении Гавриил называл приятеля «чертушкой», в плохом — «чертищем».

— Нет, ты не дрыхни, — приставал «арап», — рассуди, разве это учение? Учителя какие попадутся, только бы брали подешевле. Все урывками, кое-как. Худо, очень худо.

— Что ты ноешь, — вспылил Рязанов, — потерпим еще годик-два и двинем домой.

Но оказалось, «арап» не намерен терпеть.

— Объявлено, что в будущем году в городе Меце открывается инженерская школа и уже набирают учеников. Вот бы туда попасть!

Петров говорил так уверенно, будто в Меце ждут не дождутся, когда появятся русские волонтеры.

— Ну, знаю, знаю про эту школу, — недовольно пробормотал Гавриил, — но ведь туда берут только послуживших во французской армии.

— Знаешь, да не все, — таинственно проговорил «арап»,— ведомо тебе, что французские войска выступили к испанской границе? Не сегодня-завтра начнется война... А что, если, — Петров понизил голос до шепота, — записаться в армию, повоевать, а потом... потом в школу.

Резанов даже испугался.

— Ты соображаешь, что говоришь? Чертище! Тебе государь просто голову оторвет... Молчи! Я ничего не слышал.

Гавриил закрыл голову одеялом. «Арап» рассердился, швырнул в приятеля подушкой. Но тот благоразумно притворился спящим.

Утром Резанов, проснувшись, увидел, что койка Петрова пуста. Вернулся он поздно вечером. Сказал отрывисто:

— Я принят в армию инженерским учеником, через неделю — в полк.

Бедняга «толстячок» даже голос потерял. Промычал что-то нечленораздельное.

Поступок «арапа» безрассуден? Может быть. Но что делать, если хочется учиться по-настоящему. И другой возможности не виделось...

Известия о войне в Пиренеях приходили нечасто. Резанов больше чем на год потерял из поля зрения приятеля. Очень скучал по нему, втайне опасался худшего. Испанцы воевали жестоко и, по слухам, отступая, не брали пленных...

Петров появился в Париже, когда Гавриил уже не надеялся на встречу с ним. «Арап» сильно похудел, вытянулся, голова его была в черной повязке — рану получил в «подземном», траншейном, бою, она еще не затянулась.

Глаза у «чертушки» весело сверкали. Он очень картинно и горячо рассказывал о штурме Фонтарабии и Сен-Себастиана — городов, которые были взяты по ученой «Вобановой методе».

Бывшего инженерского ученика за храбрость произвели в офицеры. Он стал инженер-поручиком и... сразу же начал слушать курс в мецской школе.

Петров занимался там два года, подкрепляя учением свое звание, полученное на поле боя.

Близилась пора возвращения на родину. Русский посол в Париже торопил. Он на сей счет высказался грубовато:

— Хватит бить баклуши. Из Петербурга за вами уже отправлен корабль.

Впрочем, в том, что касалось Петрова, разговор был особый. Государь, решительно не знавший нежности в отношениях с людьми, к своему крестнику был беспримерно чуток. Он даже не неволил его, не требовал возвращения в Петербург.

Герцог Орлеанский, регент Франции, предложил черному инженеру остаться в армии, под знаменами которой он воевал. Герцог уверял, что Россия чужда ему, и не только по рождению. Человеку, прожившему годы в Париже, невозможно вернуться в «полудикую Россию».

«Арап» отказался решительно и без малейшего раздумья. Россия его вторая отчизна, он вернется в Петербург [1].

---

[1] О судьбе «Арапа Петра Великого» прекрасно рассказано в неоконченном романе А. С. Пушкина, в романе, которым великий поэт обессмертил своего прадеда.

Африканец тосковал без снега, без удивительных белых деревьев, подобных которым он не видел ни в одной другой стране, тосковал без названого своего отца. Сердце даже кольнула мысль: почему же Петр Алексеевич готов так легко отказаться от него, давая свободу выбора, свободу, которую он не просил?..

Только в Россию, в Питер. Другого пути нет.

Все-таки он страшился написать прямо Петру Алексеевичу о том, каким образом попал в мецскую школу. А тут еще с души воротит при мысли, что предстоит ехать морем.

Недавний волонтер пишет кабинет-секретарю Макарову:

«Прошу вас... доложить его величеству, что я не морской человек... Ежели императорское величество ничего не пожалует, чем бы мне доехать в Петербург сухим путем, то рад и готов пешком идти... Прошу донести царскому величеству, что я был в службе здесь поручиком инженерским, в котором полку я служил учеником. Понеже сделали здесь школу новую для молодых инженеров, в которую школу не принимали иностранных, кроме тех, которые примут службу французскую. Но я надеялся, что не будет противно его величеству, что я принял службу для лучшего умения... Токмо прошу христа ради и богородицы, чтоб морем не ехать...»

Когда «арап» рассказал Резанову, какое письмо отправил в Петербург, «толстячок» от ужаса вытаращил глаза. В том, что друг вернется в Россию, он ничуть не сомневался. Но как осмелиться сказать государю, что морем не поедет, государю, который не терпел непокорства, а нелюбви к морю не прощал никому!..

— Пойми, — убеждал «арап» Резанова, — меня и при малой волне выворачивает наизнанку.

— Ну, чертище, удивил, — признался Гавриил, — теперь не отвертишься. Попробуешь батогов!

Так во второй раз дороги приятелей-волонтеров разошлись. Резанов возвращался в Петербург водой. Петров — сухим путем: до границы частью в попутных каретах, частью «пехом», а дальше — на перекладных.



О ВСТРЕЧЕ У ДУДЕРОВОЙ ГОРЫ

Бог мой, как изменился Петербург в годы отсутствия Абрама Петрова! Он бродил по улицам приморской столицы, узнавал ее и не узнавал.

С той минуты, как «арап» проехал под полосатым шлагбаумом у Безымянного ерика, он удивлялся беспрестанно. Раньше город строился клочками. Тут слобода, здесь переулочек, там, за болотом, господские хоромы.

Ныне впервые виделась некая стройность. Крепостные гласисы и самые оживленные перекрестки становились площадями, лесные просеки и дороги — улицами. Пусть еще узкими и неровными, с деревянными, похилившимися на зыбкой почве стенами домов. Но — настоящими городскими улицами.

Большая Невская першпектива — первые версты старинной дороги на Новгород и Москву — начиналась у валов Адмиралтейства, всегда окутанного дымом от смоляных вар-

ниц и горнов. Другим концом она упиралась в зеленую, окруженную вековой рощей Александро-Невскую лавру. Першпектива до подъемного моста через ерик вымощена булыжником, в четыре ряда обсажена березами, окопана канавами для стока воды.

По особенно темным вечерам здесь зажигались фонари. В них горело конопляное масло. Петербуржцы толпами приходили смотреть на непривычное зрелище.

Центр города указно переместился от Троицкой площади, с церковью, обветшавшим Гостиным двором и деревянным сенатом, на Васильевский остров, где собирались копать каналы вдоль улиц-линий и поднимали кирпичные стены Двенадцати коллегий. Но ясно было, что и тут, на острове, без надежных мостов, отрезаемом в пору ледоставов, ледоходов и частых половодий, «главное место» города надолго не удержится. Быть ему на левобережье, на Адмиралтейской стороне, где верфь, царский Летний сад с дворцом, две Морские слободы, съестные и сенные рынки, там, где тянется широкая и прямая Невская першпектива.

Чуть в стороне от нее, на мутной речушке Мье, только что выстроен Комедиантский дом. Он весь из дерева, пазы топорщатся конопатью. К стене прибита афишка, многоречиво извещающая, что здесь показывают силача — второго Самсона.

«Посмотрим новоявленного Самсона», — решил вчерашний «парижанин» и вошел в Комедиантский дом, под еще не всюду укрытые стропила. Занятней всего оказалось то, что никакого обмана не было, — почти все в точности, как обещано в афишке.

Взлохмаченный, мрачного вида мужчина крякнул и поднял одной рукой ржавый пушечный ствол, на котором сидел маленький барабанщик и выбивал дробь. «Оную пушку толь долго, подняв держит, пока другою рукою про здравие господ смотрителей рюмку вина выпьет».

Потом он лег, взгромоздил на грудь наковальню, и двое молотобойцев расплющили на ней железный прут. И опять ему поднесли большую рюмку — и он опрокинул ее в волосатый рот.

Не поднимаясь, только перевалясь на колени, силач попробовал согнуть железный гвоздь. Не сумел. Сгоряча стукнул кулаком и пополз с подмостков.

«Господа смотрители» хохотали, рявкали вслед.

Петров вышел из ворот Комедиантского дома. Прямо на-

против были другие ворота, дубовые, тяжелые, на железном запоре. На косо прибитой вывеске — крупно намалеванные буквы: «Полицмейстерская канцелярия». Вот так соседство!

Люди, выходя из Комедиантского дома, здесь не задерживались. Наоборот, старались побыстрее миновать дубовые ворота. «Арап» остановился у листков, которыми были обклеены верей [1] и часть стены канцелярии. Он вчитывался в указы, объявления. И питерская жизнь пахнула на него суровым своим дыханием.

Тут был запрет продавать пироги в рогожных шалашах. Для того построены чистые палатки. И другой запрет: мшить дома сырым мхом. «От сырого зарождаются тараканы и протчая гадина».

А вот строгое определение — кому где жить: на Адмиралтейском острове — судовым чинам и работникам, на Московской стороне — служителям дворцовых конюшен и Партикулярной верфи, на Петроградской стороне — мастеровым и солдатам...

С первого дня, как обосновался Питер, начались и всяческие регламенты. Где жить, где строиться. Все равно живут, кто где вздумает.

А это что? Указ о водяных ассамблеях. С тех, кто не явится на Неву на своих лодках, взять по пятьдесят рублей штрафу. Если же скажут — денег нет, «взять другими вещми».

Да, по-прежнему жестковат к своим подданным государь. Петров знал: те водяные ассамблеи не увеселительные прогулки, а тяжкое всеобщее учение — как работать веслами, как ставить паруса.

Под дождями и ветром поободрался лист с указом о школярах морских и прочих: «Для унятия крика и бесчинства выбрать из гвардии отставных добрых солдат, и быть им по человеку во всякой каморе во время учения, и иметь хлыст в руках. Буде кто из учеников станет бесчинствовать, оным бить, не смотря какой бы он фамилии не был».

Черный инженер преотлично помнил, что это старый указ. Видно, основательно подраспустились школяры, если снова понадобилось напомнить о хлысте. Что же, выходит, и так можно вбивать науку в головы?

Совсем уж неожиданно среди бумажных обрывков с обтрепанными краями проглянуло уведомление о происшествии

---

[1] Верея — столб, на котором держится створка ворот.

на безвестном острове. Там рыбаки поймали так называемую «сирену, или морскую женщину». Морское чудовище походило сверху на человека, а снизу на рыбу. Цвет кожи у него был желто-бледный, на голове черные волосы, руки между пальцами заросли перепонками на гусиный манер...

Петров, не сдержась, рассмеялся. По всему видно, вовсе не шутник он, господин полицмейстер Девьер. Пусть знают питерские жители, что господь не прощает вину ослушания и щедро шлет людям всякую пакость...

«Морская женщина» окончательно привела «арапа» в веселое настроение.

В самом деле, отчего ему нынче так легко и отрадно на душе? Вспомнился вчерашний день, первый день возвращения на невские берега. С стесненным сердцем подъезжал он к покрытой лесом до самой вершины Дудеровой горе. Тревожно думалось: что ждет его в Петербурге? Не очень ли гневается Петр Алексеевич? Не слишком ли жестокой будет кара за своеволие?.. Одолевая душевное беспокойство, Петров мысленно перебирал все, что скажет в свое оправдание. Пришло чувство отчаянной и горькой покорности: «Ах, будь что будет».

Запыленный возок обогнул пологую гору, колеса затарахтели по большаку у самого берега голубого озерка. Парижскому волонтеру послышался отдаленный звон колокольца. Ямской кучер неодобрительно сплюнул в дорожную пыль.

— Эка, раззвонился. Поди, гоньба почтовая.

Черному инженеру нет никакого дела до почтарей. Он нахлобучил картуз на глаза и снова углубился в свои невеселые мысли. От усталости вздремнул. Очнулся, когда колоколец загремел у самого уха. Встречная одноколка промчалась мимо.

Петров оглянулся. Одноколка круто разворачивалась. Он выскочил из повозки и тотчас узнал крестного отца.

Петр Алексеевич схватил крестника за плечи, до боли крепко сжал их своими лапищами.

— Все ль по добру, мой арап?

Черный инженер глубоко вздохнул. «Не сердится, не сердится, коль выехал встретить», — подумал с облегчением.

Государь расспрашивал о парижской жизни, о регенте, о дофине. Усмехнулся:

— А ты, поди, без памяти рад, что ученью конец?

Петров отвечал сбивчиво, невпопад. Он вглядывался в лицо крестного отца. Заметил седину, и что морщины у

переносья врезались глубже, и что в глазах, всегда метавших огонь, вдруг на самом донышке легло зрелое спокойствие и неожиданная печаль.

Одноколка задребезжала рядом с возком. Государь, намотав вожжи на кулак, сдерживал горячего иноходца. Говорил громко, все же иные слова пропадали в скрипе колес:

— Отдыхай сегодня и завтра... На третий день утром приходи ко мне на Литейный двор.

Петр Алексеевич подумал еще и добавил:

— А чего тебе целых два дня без толку шататься. Соскучишься. Вот тебе дело: загляни в типографскую избу. Мы нынче на российском языке выдаем Вобановы труды... Так ты сличи их с французским подлинником. Да смотри, чтоб без ошибок. За каждую взыщу!

Последние слова Петр Алексеевич прокричал уже издали. Иноходец рванул во весь мах. Одноколка исчезла за лесной опушкой...

Что же, день, второй день парижского волонтера в Питере, близился к концу. Пора было поспешить в типографию.

Она находилась в помещении, которое только по старой привычке называлось избой. Это был просторный дом, в два света. Здесь громоздились ящики, полные свинцовых литер. Густо пахло краской.

Петров потребовал последние корректурные листы. Он примостился возле печатного станка, запалил толстую, темного воска свечу. Листы были влажные, тяжелые.

«Арап» залюбовался ровными, четкими рядами строк. Ничто не напоминало старинную вязь церковного полуустава. Книга была набрана без юсов, для новой гражданской печати. Буквы — «круглы, мерны, чисты». Бережно и любовно «арап» коснулся ладонью оттиска. Он был прохладный и шероховатый.

На первом листе отчетливо набран титул: «Истинный способ укрепления городов, изданный от славного инженера Вобана на французском языке. Ныне же преложен с французского на российский язык».

Пониже шрифтом помельче объяснено, что книга «преложена есть Василием Суворовым».

Василия Ивановича Суворова государев крестник хорошо знал. Встречался с ним и в России и во Франции. К его познаниям как в языке, так и в фортификации относился уважительно.

Петров углубился в чтение. Воск медленно оплывал. Фитилек, сгорая, закручивался в колечко, дымил...

Тогда Петров не мог знать, что через несколько лет по этой самой книге Василий Иванович будет учить азам военной науки худенького, малорослого сына Александра. А через несколько десятилетий Александр Суворов во главе русских армий при Треббии, Нови разобьет соотечественников Вобана. И потомки, позабыв «Вобанову методу», всегда будут помнить суворовскую науку побеждать.

Перевод книги был сделан основательно и с возможной точностью. По крайней мере, в этом убеждали предисловие и первая глава. До второй черный инженер добраться не успел.

Спать в эту ночь было уже некогда. Государево утро начиналось обычно в пятом часу. Не опоздать бы на Литейный двор.

У переправы «арап» долго ждал. На лаву — дощатый настил, брошенный поперек пляшущих на волне плоскодонок,— вышел сенной обоз.

Начинало уже светать. Над темной водой плыл туман. На середине Невы в лаву чуть не врезалась шхуна, плывшая под малыми парусами. Шкипер кричал, чтобы не медля развели плоскодонки — пропустили судно.

— Мы везем царского указчика, — кричал он в жестяную трубу, — как я позову его сейчас, так он враз научит вас уму-разуму!

На носу шхуны появился «царский указчик», в капюшоне, нахлобученном на зюйдвестку. Он замахал руками, закричал что-то грозное.

Петров сразу узнал этот голос, подбежал к перильцам лавы.

— Гаврюша! Толстячок!

Капюшон приподнялся, и «арап» увидел румяное лицо друга. Резанов, позабыв о важности звания, присвоенного ему шкипером, вдруг сорвавшимся голосом крикнул:

— Чертушка, давно ль ты здесь? А я уж с неделю как в Питере.

— Куда шлют тебя? — спросил Петров. — Едешь-то куда?

— На Ладожское озеро, — откликнулся Резанов. — Там, братец, такая крутоверть. Гремят громы небесные!

Лава разомкнулась, и шхуна, вскинув пенные усы, двинулась вверх по течению. С высоты проплывающего борта Гавриил на прощание крикнул:

— Ищи меня на Ладоге!

Когда Петров прибежал на Литейный двор, государь был уже там. В распахнутой на волосатой груди рубахе, в брезентовом фартуке он работал у печей. «Арапа» заметил не сразу. Увидев, отмахнулся рукавицей:

— Погоди. Не мешай.

Петр Алексеевич на весу нес в полыхающий проем тяжеловесную железную ложку. Зачерпнул ею расплавленный металл и выплеснул на плиту. Долго смотрел, как застывает огненный сгусток и переливчато бродят по нему сине-багровые тени. У склонившегося рядом седогривого мастера спросил:

— Думаешь, готова плавка? Не закозлим ее?

Выпрямился во весь рост, чуть не задевая головой о закопченные стропила, весело и яростно скомандовал:

— А ну, давай!

Схватил железный лом и с размаху ударил по глиняной летке. Будто само солнце вдруг вкатилось под обугленную крышу. Петров невольно закрыл лицо ладонями, а когда отвел их, увидел, как жаркий ручей хлещет в широкий, вкопанный в землю ковш.

Петр Алексеевич, обрадованный удачной плавкой, растирал пятерней потную грудь. Он заметил движение «арапа», злорадно усмехнулся:

— Ослепнуть боишься?

И поманил к себе. От Петра Алексеевича пахло железом и потом. Он сказал:

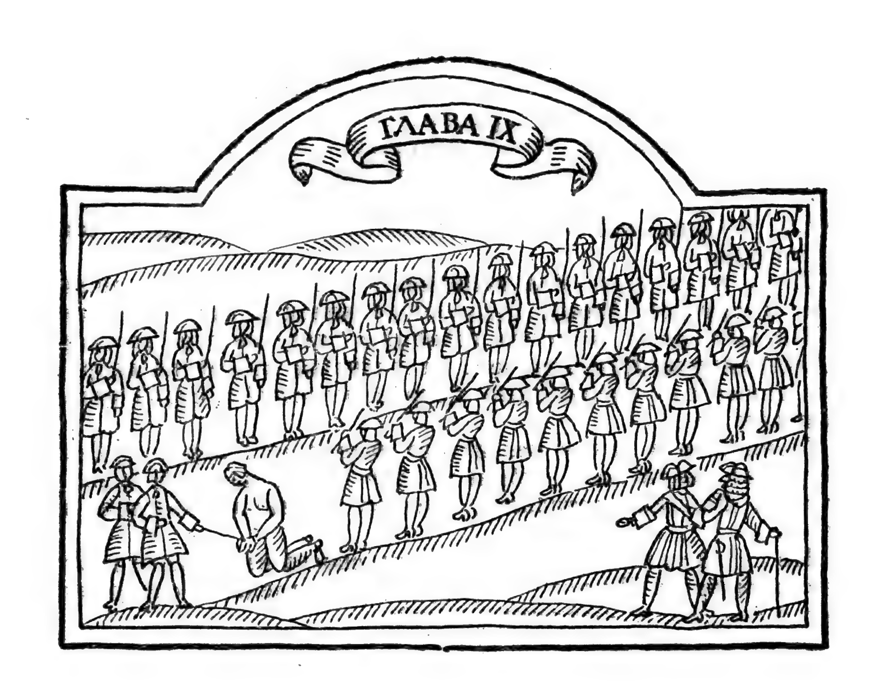
— Будешь определен инженер-поручиком в бомбардирскую роту, в Преображенский полк.

От волнения у парижского волонтера вздрогнули губы. Теперь окончательно все сомнения позади. Государь подтверждал звание, полученное во Франции.

— Еще вот что, — Петр Алексеевич помедлил, точно эти слова стоили ему усилия, — будешь учить Петрушу малого, осиротелого внучонка моего, математическим наукам...

Прошел металл из печи. В сарае стало темнее прежнего. Государь молчал. Инженер-поручик не смел нарушить молчание.

— Запомни главнейшее, — приглушенным и все же отчетливо слышным голосом продолжил Петр Алексеевич, — всегда говори мне правду. Есть у нас такая поговорка: лжа, как ржа, душу ест.



О «КАНАЛЬНОЙ ЛЖЕ»

То, что Гавриил Резанов назвал «крутовертью», началось на Ладоге в тот день, когда Петр Алексеевич возвратился из Персидского похода в Москву. Первый вопрос, заданный сенаторам, был о Ладожском канале. Известно, что в числе важнейших дел после основания северной столицы Петр Алексеевич считал именно строительство этого канала. Государь не спрашивал, как идут работы. Он спросил, готовы ли суда к навигации.

Сенаторы сконфуженно мялись. Каждый старался уйти от ответа. Одно это рождало мрачные подозрения. Но правда оказалась страшней любых подозрений.

Петр Алексеевич застал великий разброд в государственных делах. Повсюду — мздоимство, разор, потачка, воровство. А на Ладоге — больше всего. О навигации думать нечего. Канал прокопан всего на двенадцать верст от Волхова.

Сотенные отряды солдат и работных растянуты и дальше, на много верст. Но там не сделано вовсе ничего или сделано так, что неизвестно, как переделывать.

Израсходовано же больше миллиона рублей. Куда могла подеваться такая уйма денег? Особенно, если взять в расчет, что солдатам на канальных работах платили по 3 копейки в день... Видать, карманы у питерского генерал-губернатора бездонные.

Петр Алексеевич без колебаний посадил под домашний арест сенаторов. Князю Меншикову велел явиться немедля.

Никому неведомо, о чем говорил с глазу на глаз государь с Александром Даниловичем. Светлейший вышел из дворцовых покоев взбудораженный, багрово-красный и озадаченный до крайности.

Меншиков в таких переплетах бывал многократно. Дело всегда заканчивалось дубинкой, поучением из «собственных рук». И Данилыч оставался предоволен: знал, следствия не будет.

Но сейчас государь не отколотил своего сердечного друга. Корил словами. Ни разу не ударил. И светлейший спрашивал себя в смущении: «Неужто — суд?»

Петр Алексеевич был потрясен неслыханной наглостью обмана. Тяжелые мысли одолевали его: «Видят, старею. Думают, руки мои ослабели. Совсем распоясалось ворье треклятое... Данилыч проворовался. Не впервой. Главнейший после меня человек запустил лапы в казну. Ладно, смирюсь... Все воруют... Но мы ведь вместе с ним порохом дышали под Нотебургом, у Гангута, под Полтавой... Сердечный друг, боевой сотоварищ предал, продал... Как стерпеть такое?..»

Петр Алексеевич дышал тяжко, жестокая судорога сводила лицо.

В московской фельдцейхмейстерской конторе государь выгнал всех писарей, всех офицеров. Генерал Брюс сидел в кресле и спокойно смотрел на государя, он знал — это припадок, это скоро пройдет.

Петр Алексеевич сутулился за столом, спросил горестно:

— Кому поверить? Кого пошлю на Ладогу?

И тогда Брюс впервые назвал Миниха. Брови царя удивленно поднялись. Миних? Какой Миних? Ах, это тот немец, который служил полякам и нанялся в Россию. Помнится, при первом знакомстве не понравилась его моложавость, и потому

не дал ему генерал-поручицкого звания, чтобы не обидеть своих седых вояк, а только генерал-майорское...

Что известно о Минихе? Он успел построить бечевник вдоль Невы. Да еще, рассказывали, в Питере на целонедельном маскараде вырядился старым забулдыгой и потешал всю публику... Вроде, маловато сноровки для большого канального дела.

— Миних? Советуешь? — переспросил Петр Алексеевич.

— Бурхард Кристоф Миних, — внушительно произнес Брюс, — известный знаток в гидротехнике.

— Где он?

— Да здесь, где-нибудь во дворце. Готовит водяную потеху.

— Хорош знаток, — недоверчиво протянул Петр Алексеевич, — однако зови...

Встреча с Минихом состоялась в тот же день. Государь неприязненно смотрел на улыбчивого, в ловко перетянутом мундире, непереносимо молодого генерала. Бабий угодник, дворцовый шаркун.

Разговор Петр Алексеевич повел в упор — о Ладожском канале. Для проверки постарался огорошить «шаркуна» задачей немалой трудности:

— В том краю текут речушки — Назия, Лава, Кобона, много других. В руслах полно песку, илу... Как провести эти речушки через канал без засорения?..

Государь спросил по-немецки. Миних ответил по-русски, с приметным акцентом:

— Полагаю, можно поставить запасные шлюзы. Песок не дойдет до канала.

Петр Алексеевич пристально посмотрел на Миниха. Все-таки очень уж на юнца смахивает. Вовсе не надо бы давать ему генеральский патент. Но и рекомендация Брюса чего-то стоила.

— Вот что, — недовольно проговорил государь, — поезжай на Ладожский обходный канал. Работай там месяц, два... Разберись во всем.

— Когда прикажете ехать? — Миних щелкнул каблуками, вытянул руки по швам.

Петр Алексеевич удивился вопросу.

— Сейчас и ехать.

Всю ночь держался туман. К утру не прояснило, но туман исчез, и, как это бывает на севере, в благословенной тишине все казалось свежо умытым — и еловый перелесок, и пóжинка с поникшими ромашками, и хатенки под ржаной соломой.

Дорожная кибитка, насквозь промокшая, густо забрызганная грязью от колесных ступиц до кожаного верха, проскрипела по проселку и остановилась на краю Новой Ладоги. На крыльце дома, обшитого тесом, висел жестяной лист. На нем белым по черному под двуглавым орлом было написано: «Ладожская канальная управа».

На стук откликнулся сторож, весь заросший сивым волосом:

— Никого в управе нету. Все на плацу. Слышь, в барабаны колотят?

Миних выбрался из кибитки, молодцевато расправил плечи. Несмотря на долгий и трудный путь, он был румян, весел и начальственно строг. Прыгая через лужи, Миних направился прямиком на барабанный бой, гадая, что именно сейчас откроется взгляду — войсковая экзерциция или заурядная экзекуция.

На плацу через сдвоенную шеренгу вели по пояс нагого солдата. Гибкие пруты опускались и поднимались вразнобой. Но как только появился генерал, полет прутов стал мерным, четким и жестким.

Маленький рыжеватый офицер, командовавший экзекуцией, разлетелся навстречу, держа два пальца у треуголки. Он, словно завороженный, не отводил взгляда от шитых золотом обшлагов генеральского мундира. Подобострастным шепотом представился:

— Капитан Людвиг.

— За что наказан солдат? — спросил Миних для порядка, хотя это вовсе не интересовало его.

— Обыкновенно: за воровство. — В голосе капитана прозвучали почтительность и готовность. — Прикажете прекратить экзекуцию?

— Отчего же, продолжайте.

Мало ли повидал Миних наказанных солдат? Без шпицрутенов и палок, без отеческих зуботычин армия и дня не проживет, развалится. Солдат вообще существовал для него как понятие отвлеченное, почти бесплотное. Солдат — это тот, кто по его, Миниха, приказу идет в бой, отдает жизнь.

Ему казалась кощунственной мысль, что солдат такой же

человек, как и он, способный думать, страдать. Миниху доводилось командовать тысячными армиями. Но он не знал ни одного солдата по имени.

Между тем у рядового, наказанного в присутствии Миниха, было имя, была своя судьба. Звали его Василий Иванов.

Иванова обвинили в краже денежного мешка со стола управского казначея. Именно — не денег, а брезентового мешка. На дне его завалялись всего-навсего два медяка.

Василия вели сквозь строй. Он шел выпрямясь. Напрасно сердобольные товарищи шептали ему:

— Сожмись в комок, дурья башка, напружься, легче будет.

Шептали и старались прут положить вскользь.

Спина Василия вспухла и налилась чугунной синевой. Он молчал, только чуть запрокинул окаменевшее лицо с белыми губами.

Людвиг бесновался. Это был явный непорядок. Наказываемый должен вопить, умолять о пощаде. А этот стона не проронил.

Капитан велел повернуть солдата и снова провести его сквозь строй, от конца до начала.

В шеренгах глухо вздохнули. Но занесли измочаленные пруты. Василий безучастно повернулся, сделал шаг, другой. Кажется, это были самые трудные для него шаги. Кровь пропитала опояску штанов. Он шел так же молча. Не дойдя до правофланговых, вдруг споткнулся, рухнул на колени и вытянулся во весь свой огромный рост.

Барабаны ударили громче. За дробными переливами не расслышать голосов в серых шеренгах.

Убили, убили человека...

Плац постепенно пустел. Ушли солдаты. Ушел Миних. За ним чуть не вприпрыжку пробежал Людвиг. Василий Иванов лежал на плацу под хлынувшим дождем.

Ненастья в приозерье бывают такие, что не разберешь — день еще или вечер настал. За росным туманом можно было разглядеть, как над полумертвым солдатом склонились две фигуры, мужская и женская.

Мужчина взвалил Василия на плечи; тяжело ступая, понес его. У землянки, вырытой под корнями старой ели, остановились. Женщина забежала вперед, распахнула дверь, бросила хворосту в камелек.

Положили Василия на топчан, покрытый полотняной

простыней. С трудом повернули лицом вниз. Мужчина медленно проговорил:

— Первое дело — вытащить занозы из мяса. Посмотри-ка, сколько их... У тебя, Степанида Федоровна, пальцы тонкие, добрые...

Как ни бедно было в землянке, а сразу видно — живет здесь человек обстоятельный.

Землянку и все, что в ней находилось, соорудил Захар Смирной сам. Стены изнутри обшил березой. Стол на козелках, чурбашки для сидения, нары — тоже березовые. В землянке все светилось.

Строил Захар и думал: «Дарёнка не утерпит, соскучится, приедет взглянуть на суженого, увидит, какие он для ее светлого житья «палаты» выстроил, порадуется».

Но вместо нее на канале, незадолго до памятной экзекуции, появилась бабушка Стеша, с лицом, распухшим от слез. Вздрагивающими, неверными руками распутала туго завязанный платок.

— Горе у нас, Захар, — тихонько проговорила и не сдержала вопля: — Ох, горе великое... Дарьюшка-то ушла из дому... Ты послушай-ка. Я стала примечать, еще как вы с Зеленца вернулись, больно она богомольна стала. К подружкам на зов не выходит, все от иконы глаз не оторвет... Сам знаешь, как прежде голосок ее в дому звенел, а тут затихла. Все с Иваном о чем-то шепотком беседует... Сердце мое почуяло неладное. Сколько я слез пролила.

Поникла старая седой головой. Нелегко давался ей этот рассказ. Долгие минуты прошли, прежде чем она сумела продолжить его.

— Ну, вот. Спрашиваю Дарьюшку: «Что с тобой, дитятко?» Ответила, как ножом по сердцу полоснула: «Не житье мне здесь, бабушка. И с Захаром не жить. Не его я невеста, христова. В счастье своем позабыла о боге, он и погубил было нас с Захарушкой, бурю наслал, да смиловался. Великий знак подал. Нет, не будет нам счастья. Должно грех замолить... Братец Иванушка правду молвит... Ты уж прости меня ради бога, родная». Со словами этими поклонилась мне низехонько.

Степанида Федоровна досказала и заплакала навзрыд. Захар слушал, сжав кулаки. Так вот о чем говорил тогда дядя Иван в Новой Ладоге, осердясь. Вот чем грозил... Добро же!

Богомолец, а душа дьявольская... Что ты над собой сделала, Дарёнушка, и себя и меня обездолила!

Бабушка Стеша подтвердила: Иван Круглой увез Дарью в скит, в Кивгоду. Главное, что увез не силком, по ее непременной воле. Что тут поделаешь?

Погоревали Степанида Федоровна и Захар денек-другой. Собралась старая в Леднево. Запрягла уж лошаденку и вожжи в руки взяла. Захар подошел к ней:

— Бабушка, поживи хоть малость в моей землянке. Невмоготу мне одному.

Степанида Федоровна даже рассердилась:

— Что ты? Нечего мне делать здесь, не то в хате, не то в могиле. И не проси.

Взмахнула кнутом над лошадиной спиной.

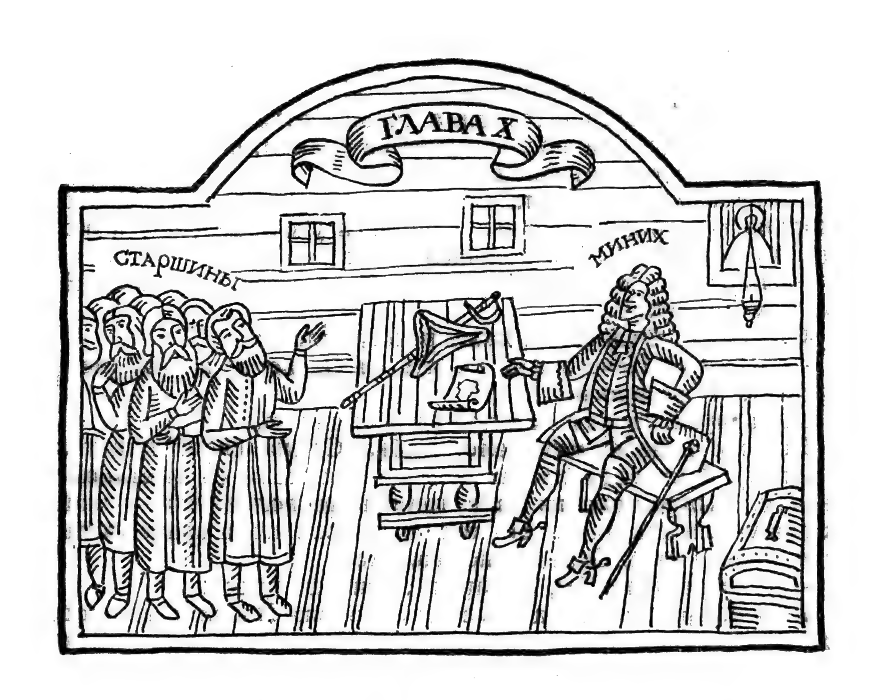
Всего с неделю миновало. Бабка Стеша снова приехала к Захару. Привезла хлеба, солонины, туески со сметаной и маслом. Выпростала из узла тряпичные половички — ткать их она умела как никто. Постелила половички, и сразу уютней стало в землянке. Сказала неумолимо:

— Завтра уеду. Ты, Захарка, лучше не проси.

А назавтра чуть не до смерти запороли Василия Иванова. Уж тут все повернулось по-иному. Увидела старая несчастного солдата — каждый вздох его казался последним, — всполошилась. Протопила камелек, велела нагреть воды побольше. Как ребенка, обмыла Василия, наложила белую простынку на загноившиеся раны. Осталась, потому что понимала: если уедет, помрет человек.

Вскоре в Захарову землянку пришел капитан Людвиг. Сразу узнал Василия.

— Вот он, оказывается, где, воровская душа. — Капитан по-русски говорил вполне отчетливо, чисто, но как-то слишком твердо произносил окончания. — Ничего, лечить разрешаю, вернете царю солдата. — Людвиг повернулся к молодому хозяину землянки: — Я за тобой, Захар. Поедешь с господином Минихом за проводника. Покажешь генералу страну Ладогу.



О РАСКОЛЬНИЧЬЕЙ ПУСТЫНЬКЕ В КИВГОДЕ

Миних-инженер был несравнимо сметливее Миниха-генерала. Он хорошо понимал, что госпожа фортуна подсунула ему верную карту. Успех состоял не в раскрытии «канальной лжи». Она была очевидна, и доказывать ее излишне. Главная ошибка первых устроителей обходного канала — в том, что они не знали характера озера, на котором все дело развертывалось. А загадок тут великое множество. Только люди, прожившие весь свой век на Ладоге, могут помочь распутать их.

Захару Смирно́му было доподлинно известно, что люди, лучше других знающие ладожскую старину, обитают в Кивгоде. Потому путешествие Миниха по стране Ладоге началось именно с этой не очень приметной деревни.

Поездка в Кивгоду для молодого генеральского проводника была желанной еще и по другой причине. Он не мог пре-

одолеть горячего стремления повидать Дарёнку. Ничего не говорить ей, ни в чем не упрекать, только свидеться. Но это уже касалось его одного...

Так вот и оказались Миних и его провожатый непрошеными гостями в ладожском скиту.

За дощатой стенкой кто-то гнусавил, вычитывая певучие строки. Захар тотчас узнал зачин Аввакумова поучения.

Эта старая, от руки писанная книга была самой первой, прочтенной им. Ее да соборник знал чуть не наизусть.

От сбивчивого, вовсе неблагообразного, случайно услышанного чтения защемило душу, повеяло грустным отрочеством, первыми раздумьями.

Не один уж десяток лет, как Аввакум сожжен. За что принял муку упрямый протопоп — сибирское изгнание, мытарства в «брацком остроге» и лютую, невообразимо страшную смерть? За вражду с патриархом Никоном, за двуперстье?[1] За гневное обличение — «буттось везде в начальных людех, во всех чинех нет никакой правды»?..

За стеной же невидимый чтец, прошелестев страницами, гнусаво и равнодушно читал о том, как по сибирской дороге идут старичок и старушка. Бедная протопопица бредет-бредет, ноги не держат ее, усталость гнетет к земле. Поскользнулась, упала. В отчаянии спрашивает мужа: «Долго ли муки сея, протопоп, будут?» Он отвечает: «Марковна, до самой смерти». Она вздохнула и, поднимаясь с трудом, молвила: «Добро, Петрович, ино еще побредем...»

Порядочно времени миновало с тех пор, как Захар Смирной отказался от старообрядства. А вот дóроги ему чем-то косноязыкий в страданиях своих, упрямый протопоп и седенькая жена его, кузнецова дочка Марковна.

Умолк чтец, и мысли Захара вернулись к нынешнему дню. Интересно все же, простили скитники своему воспитаннику уход в мир? Или затаили злобу за отступничество? Скажут о том или словом не обмолвятся, схитрят?..

Размышления Смирного прервал брюзжащий голос, донесшийся с кровати в углу кельи:

— Эй, как тебя... Долго еще ждать? Когда придет настоятель?

Миних лежал на перине в ботфортах и расстегнутом плаще.

---

[1] Раскольники крестились двуперстным сложением вместо трехперстного, принятого никонианами.

— Придет, никуда не денется, — пообещал Захар.

Он знал, что встревоженный настоятель советуется сейчас со старшинами: зачем пожаловал генерал, не царев ли налог требовать?..

В недавние, но казавшиеся уже очень далекими времена, когда «заводился Питер», государь Петр Алексеевич разрешил в межозерье устраивать раскольничьи пустыньки — отшельнические братчины. Однако с тем, что они будут платить поборы либо работать на повенецких заводах.

После шведской войны заговорили в народе о Ладожском крае. Беглые солдаты и крепостные искали здесь волю. Но на свой, необычный лад. Уходили в раскольничьи скиты, которых развелось множество. Мирскими проповедями, молчаливым упорством отстаивали раскольники свои старые книги, старые иконы, Аввакумовы писания, не принимая «никонианскую ересь». Ополчались против неправды воеводской и неправды церковной.

Скиты, считалось, были оплотом древнего благочестия. Здесь по-своему крестились, по-своему молились. Но всего важнее, что это была и хозяйственная братчина. За изуверством и дикостью, за непримиримостью суеверий проступала мужицкая забота о хлебе, о пашне, о наживе.

Отшельники расчищали лес под хлебное поле, корчевали пни, жгли травы. На огневище сеяли рожь, ячмень. Староверы, или, как их часто называли, пустынножители, по облику и по сути были обыкновенными крестьянами. И эти крестьяне очень ценили, что у них не расспрашивают, откуда пришли и есть ли отпускная. Потаенно мужицкой, ни в чем непримиримой была ненависть к церковникам и к царю. Слуг его напропалую честили грабителями. В этой ненависти не знали предела, жертвовали ей жизнью.

Где-то здесь зародилось мрачное сказание о подменном царе. Будто Петр не настоящий, а подменный царь. Государыня Наталья Кирилловна рожала все царевен да царевен. Государь же Алексей Михайлович сильно гневался. Вот в последний раз, как появилась на свет божий царевна, велела Наталья Кирилловна взять из немецкой слободы младенца-мальчика и обменять на свою дочь.

Значит, по всему выходит, Петр Алексеевич вовсе не православный царь, а как есть немец...

Встарь говаривали, что дорога не сказка, а присказка. Тут присказка была каждому понятная: не покорствуй! Настоя-

щий ли царь на Руси, подмененный ли, все едино — не покорствуй!

Впрочем, до всего этого, что составляло частицу жизни Захара Смирного, жизни прошлой, а возможно, и будущей, Бурхарду Кристофу Миниху не было никакого дела. Он нетерпеливо ждал, когда появится настоятель.

Тем временем старшины раскольнического братства долго совещались. Наконец они пришли к генералу с ведомостями, в которых было в точности прописано, какого числа и какой налог уплачен, деньгами и живностью.

Они рты поразинули, когда Миних, не заглянув в ведомости, стал расспрашивать о высоте воды в озере вёснами и осенями, где проходит ее урез в половодье и в засуху, какие предвестья у штилевой погоды, какие — у бури.

Захар, присутствовавший при этом разговоре, долго слушал. Потом неприметно вышел из гостевой кельи.

Солнце уже чуть виднелось за лесной кромкой. Скит накрывала сутемь. Вокруг часовенки теснились бревенчатые избы под драночными крышами. В отдалении едва виднелись голубцы — могильные кресты с двускатными узкими кровлицами.

Засветились окна в поварне. Над поселком медленно начинался «деревянный звон». Колокола в скитах были настрого запрещены. Молоденький служка колотил молотком в ясеневую доску — звал к вечерней молитве.

Отец-келарь пронес свой огромный, обтянутый черным сукном живот. Не останавливаясь, он ворчливо началил ключаря, смиренно семенившего чуть позади. Братия неторопливо тянулась к моленной. Многих знал Захар, и его узнавали. Но никто не подошел, не обменялся приветом.

Смирной скользнул вдоль забора, нашел калитку — она была заперта. На ощупь разыскал податливую доску, приподнял ее. Протиснулся по ту сторону забора.

Здесь начинался другой скит, того же имени, только женский. Ход сюда заповедан. Построен он был тем же древним круговым порядком. Но часовня повыше, избы почище, окна — под белыми наличниками. У стен шумел густой сад.

Захар окликнул чернорясую, спешившую с туеском на погреб. Она пискнула, кинулась прочь. Захар схватил ее за руку:

— Христом спасителем молю, не кричи... Не знаешь ли Дарью из Леднева, новенькую у вас?

Чернорясая вырвалась, опрометью отбежала в сторону. Остановилась у дерева, оттуда сказала:

— Спроси в работницкой.

Где уж тут спрашивать? Около работницкой хаты Смирной, затаясь, ждал долго. Входили и выходили молодые или старицы, не разберешь, все в черном, в платьях, как в мешках. В каждой чудилась ему Дарёнка. Да все ошибался.

Вот дверь приоткрылась, пропустив полоску света. Сердце подсказало: она, она! Стройная, быстрая. Сразу узнал ее походку. Стал поперек дороги.

Не то стон, не то крик прозвучал в ушах:

— Захарушка!

Легкие руки заметались у него на плечах. Задыхаясь, оба остановились под ветвями старой яблони. Смирной приблизил лицо, чтобы разглядеть милые глаза. Но лучше бы он не делал этого.

Ошеломление нечаянной встречи прошло. Дарьин взгляд отталкивал. Руки уперлись ему в грудь.

— Зачем ты здесь? Уходи.

Молчание. И снова ее голос:

— Божья воля, не видать нам с тобой счастья, Захарушка... За твой грех, за отступничество я перед господом молитвенница.

Смирной не мог ни слова произнести в ответ. Сначала ему хотелось схватить Дарёнку в охапку и бежать с нею из этой раскольничьей обители, будь что будет. Но сейчас перед ним была не его Дарёнка... Только одно в мыслях, нежданное, страшное: чужая, чужая!

И опять — шепот сквозь сдержанные слезы:

— Будь милостив ко мне, уйди. На колени стану, уйди!

На пороге работницкой снова пробился свет. Старушечий сердитый голос позвал:

— Сестра Дарья. Где ты там?..

Долго Смирной не мог найти оторванную доску в заборе. Руки тряслись. Горло ранил судорожно застрявший ком.

Миних уже разыскивал своего запропастившегося проводника.

— Куда подевался? Эти старики меня совсем заговорили.

Перед самым отъездом из Кивгоды настоятель прислал за Смирным. От дверей кельи встретил потрясанием костлявых рук.

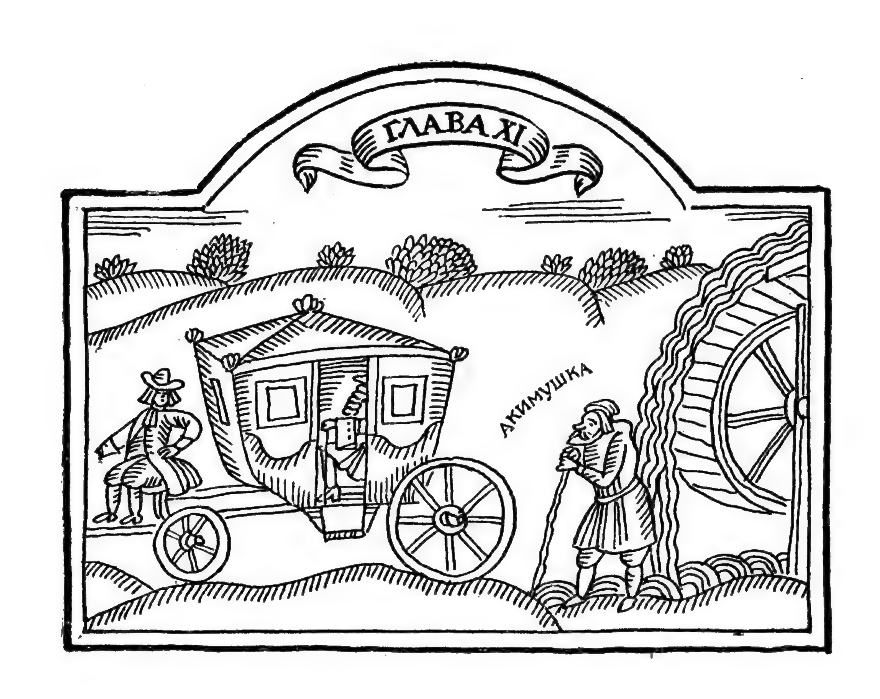
— Ослушник! Добра не помнишь. Пошто привез к нам питерского соглядатая? Проклянем тебя, во всех скитах проклятье будем петь!

Захар шел на зов с привычным чувством боязни. Но чем больше кричал настоятель, тем понятней было: он сам в бессильном страхе. Совсем уж смешно стало, когда съехавшая на лоб скуфейка обнажила желтую плешину старика.

С радостью Захар сознавал, что он не подвластен больше этому крику, этой злобе...

На рассвете генеральский возок, а за ним телега с рогожным верхом выехали из ворот обители.

Путь лежал по берегу озера, в рыбацкие села.



О «ЛАДОЖСКИХ УЗЕЛКАХ»

Больше месяца колесил Миних по проселкам и болотному бездорожью. Все увиденное и услышанное заносил в книжицу. Писал по-немецки. Но перевод с русского занимал время, кроме того, в нем неизбежно пропадали малопонятные обороты, словечки и с ними — немаловажные сведения.

Миних обрадовался, узнав, что его провожатый хорошо грамотен, и с легким сердцем велел ему вести все записи.

Захар Смирной в тех листах первым записал разговор с низовскими старожилами. Низово — село большое, хлеба́ здесь не сеют, испокон веку живут рыбным промыслом.

Разговор был противоречивый, сбивчивый. Сколько же узелков завязалось в неспешной беседе! Как развязать их, неведомо.

Старики говорили разное. Одни — будто есть предание о семилетних сроках на Ладоге. Семь лет вода в озере прибы-

вает, потом семь лет убывает. Другие спорили: таких сроков вовсе нет. Большую воду господь посылает по своему разумению.

Но и те и другие, повздорив, сошлись на ивановом дне, что приходится на 24 июня. До этого времени уровень озера прибывает, а потом, как по мановению, начинает спадать.

— Когда же на озере держится самая высокая вода? — допытывался Миних.

— С половины мая до половины июня, — отвечали старики.

— Какой месяц самый дождливый?

— Август.

— Стало быть, к сентябрю уровень озера и впадающих рек высокий.

— Ничуть. Сентябрь всегда маловоден.

Опять загадка. Снова «ладожский узелок».

А разгадка, может быть, в соседней деревне. В путь, в путь по прибрежью...

О Ладоге известны многие упоминания в летописях. Потом, в военные годины, появились сказки ладожан-разведчиков. Но доводилось ли когда-нибудь не для войны, для мирного устройства мерять глубины, замечать силу ветра, подсчитывать прибылые воды?

Пожалуй, Захаровы записи были первым таким проникновением в обыденные тайны страны Ладоги.

В селе Сумском судовщики рассказывали, что в дождливые месяцы вода в реках не прибывает, а в жару не убывает. Рыбаки в Шальдихе уверяли, что помнят, когда урез был на сажень ниже нынешнего. Сейчас тут шнява проплывет и дна не заденет.

Нрав озера переменчив. Летом над водой колышутся частые туманы. До восхода солнца закрывают они берега. Вода в Ладоге холоднющая, редко согревается даже под жарким солнцем. Зимы же очень морозными не бывают.

На юге озеро покрывается льдом в октябре — декабре. Середина озера в иные зимы и вовсе не замерзает. Причудливы ладожские льды: ветром набивает слой на слой, на мелях они скапливаются грозной массой, весенними бурями их срывает с места, носит по озеру. Встреча с ними страшна для любого судна.

О весенней Ладоге рассказывали ратницкие охотники: когда снега подтаивают, когда полнятся ручьи. Кому как не

ратницким мужикам знать о том в точности. Ведь тяжелого зверя — медведя, лося — берут они по насту. Тонкая снеговая корка человека держит, а под зверем обламывается...

Всего загадочней глубины ладожских рек и само зеркало озера. В Захаровых листах были записаны результаты нивелации, проведенной трижды. Получалось, что поверхность Волхова при впадении в Ладогу на один фут выше Невы при ее выходе из озера.

Здесь Миних сделал очень важную приписку по-немецки, им же переведенную на русский язык:

«Сия чрезвычайная разность в высоте поверхности озера определяет и глубину канала и высоту шлюзов».

Всего дольше пришлось задержаться на двух реках — Кобоне и Назии, — несущих свои мутные, бурые волны в обширный озерный залив. Здесь, в селах, которые назывались тем же именем, что и реки, жители не давали никаких объяснений, а прямо направили:

— Спросите Акимушку-чертопруда.

— Где его искать? — спросил Захар.

— Он в Островце плотину ставит.

Поехали в Островец. Действительно, там на берегу Кобоны строили мельницу. Хозяин, безбородый мужчина с желтым лицом, растолковал, что мельница большая, на шесть поставов, а будет ли работать — то в руках Акимушки-чертопруда.

— Где же он, ваш знаменитый мастер? — задал вопрос Миних.

— Поищите мастера на плотине, — посоветовал хозяин.

На плотине, где из высокой гряды земли торчали бревна, жерди, переплетенные сухими ветвями, откликнулся горбатенький мужичок с глазами разного цвета. Одежонка была велика ему, широка и сидела как-то косо. Шапка сползала на глаза. Голос тонкий, мальчишеский.

— Ну, я Аким... Зачем пришли?

На генерала он не обратил ни малейшего внимания. Расшитый мундир оглядел с любопытством и сразу забыл о нем. Решительно повернулся к Захару.

О реках Кобоне, Назие он знал все. Показал зарубки на столбе, вбитом в полуверсте от плотины. Пояснил, где была вода нынешним летом, в прошлом и позапрошлом годах.

О том, какие ветры чаще задувают на озере, ответил уверенно, будто знал, что его спросят о том:

— Бывают они нагонные либо сгонные. При одних волна

налетит, все на берегу поразмечет, аж камни-валуны с места сдвинет, при других уносит прочь воду... Говорят, что как-то в бурю воду с отмелей в истоке Невы чуть не начисто согнало и через протоку брод открылся...

Миних заинтересовался озерными течениями. Акимушка задумался, поскреб в затылке, сощурил один глаз.

— Дело, вишь, мудреное. В губе, на мелководье, вода быстро прогревается. На середине озера — почитай, всегда холодная. Там в иное время лодчонку без весел несет... Да и сама волна больно причудлива, особливо ежели от Невы задувает... У Шлюшина чуть плещется, у Мо́рьина носа она уже в человеческий рост, а к Кореле подойдешь — света белого не взвидишь: ревет волна, парус — в клочья.

Заключил Акимушка-чертопруд так:

— Еще что надо, спрашивайте, а то мне с вами разговаривать недосуг.

— Погоди, — сказал Захар, — не придешь ли к нам на канаву, в Новую Ладогу? Еще потолкуем про плотины и прочее.

— Эва тоже, — промолвил горбатенький с хитрецой, — а много ли за разум дадите?

— Столкуемся.

— Ладно, подумаю... Тебя как звать-то?

— Захар Смирной. Право, приходи...

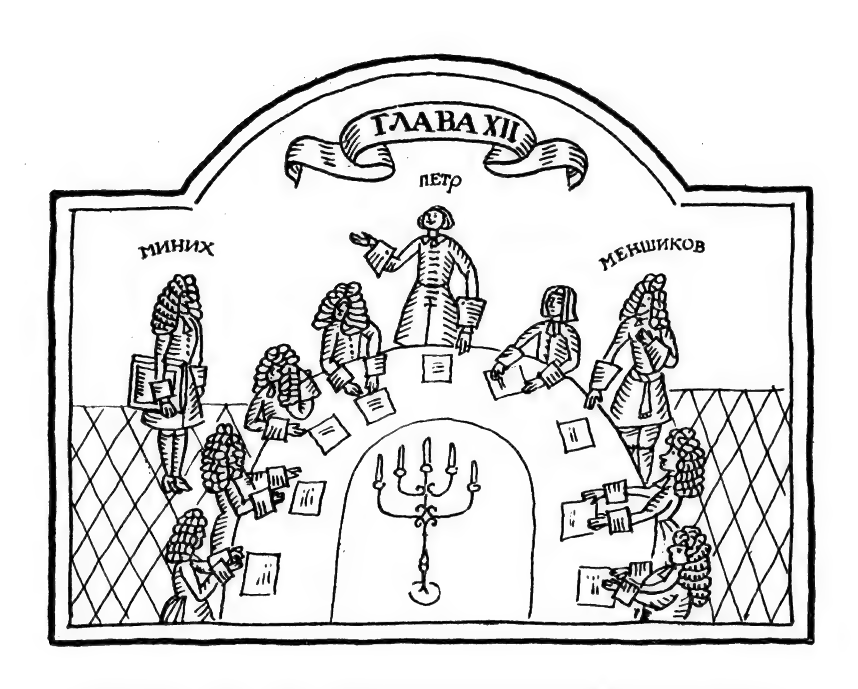
Запись о чертопруде была последней в листках, которые собрались в довольно объемистую пачку.

Шел уже второй месяц путешествия. Миних и его проводник налаживались в обратный путь.

«Как-то там живут-поживают в моей березовой землянке? — все чаще раздумывал Захар. — Поди, бабка Стеша ругмя ругает своего непутевого, несбывшегося зятька». О Василии Иванове думалось с сердечным сокрушением. Наверно, давно уже лежит на погосте. С такими ранами не выживают...

К листам, исписанным аккуратным, твердым почерком, с церковными краткогласиями и частыми помарками, Смирной испытывал почти враждебное чувство. Это они, такие-сякие, держат его вдалеке от настоящего дела, от новых друзей.

Если бы знал Захар, что эти самые листы попадут в руки государя и, брошенные на круглый, крытый зеленым сукном стол конференц-зала, вызовут настоящую бурю. С нею не всякая озерная сравнится.



О ТОМ, КАК ВСЕ ПРИШЛОСЬ ДЕЛАТЬ ЗАНОВО

В Петербурге, в сенате, происходили великие споры «в рассуждении строительства» Ладожского, или, как его называли повсюду в России, Большого канала.

Инженеры и подрядчики, приставленные к канальному делу Меншиковым, защищаясь, говорили, что работы на всем протяжении от Волхова до Невы ведутся в полную силу. Правда, они закончены только на первых двенадцати верстах от Новой Ладоги. Здесь надобно оставить канал как он есть — глубиной в 3 аршина, без шлюзов. А на оставшихся девяноста двух верстах копать только глубиной в один аршин. Для того же, чтобы суда могли плыть, поставить шлюзы на концах и поднять уровень еще на два аршина.

Миних ответил решительно и прямо:

— Такой канал будет несудоходен. Глубину должно выдержать повсюду в три аршина. Шлюзы же и в этом случае необходимы.

Меншиков вспылил и презрительно бросил:

— Генерал Миних, может быть, военный человек, — Александр Данилович голосом подчеркнул это «может быть», — но о Ладожском канале довольного понятия не имеет.

Тогда Миних предъявил сенату Захаровы записные листы, в которых было сказано в подробности о режиме вод в озере, в реках. Первым их просматривал Петр Алексеевич. Да, это яснее ясного: по каналу столь ничтожной глубины корабли не пойдут, а поднять уровень до трех аршин просто будет нечем. Записи просматривали сенаторы, голландские шлюзные инженеры, немецкие мастера.

Спор разгорелся яростно. Чуть не с кулаками подступали друг к другу почтенные господа в шелковых камзолах и кружевах.

Петру Алексеевичу надоело слушать попреки и запирательства. Он гулко опустил ладонь на стол. Все притихли. Государь стал поочередно спрашивать мнение сенаторов. Большинство честно признались, что не могут решать вопрос, в котором ничего не понимают.

Петр Алексеевич слушал мрачно, с потемневшим лицом. Никто уже не спорил, все молча смотрели на государя. И он молчал, погруженный в свои думы, будто позабыл о сенате, о раздорах, в коих чудилось что-то непристойное, недоброе. Наконец тихо произнес:

— Некому решать. Некому... Как же вы, бабьи дети, будете постановлять мнение о делах государства, когда меня не станет?.. — Медленно вздохнул, цедя воздух сквозь зубы, сказал твердо: — Видно, канальную работу решать мне на месте. Со мной поедешь ты, Миних. И твои инженеры, Данилыч, пусть едут.

Лейб-медик Блюментрост почтительно склонился и прошептал что-то на ухо государю. Он усмехнулся, ответил:

— Само собой, и ты собирайся в путь. Я теперь без тебя, Лаврентий, как без мамки в сопливом ребячестве — ни шагу.

Меншиков в смущении тер плохо выбритые щеки. Парик с пудренными буклями съехал на сторону, он не замечал этого. Александр Данилович ждал чего угодно, но чтобы государь, давно уже недомогавший, в осеннюю непогодь поехал на Ладогу...

Теперь от него ничего не скроешь, он все увидит.

Петр Алексеевич, поднимаясь с места, сказал повелительно:

— Едем завтра. Часу в пятом...

До Шлиссельбурга царев поезд, состоявший из нескольких карет со свитой, еще кое-как добрался. Дальше дороги не было. Все затянуло грязью. Колеса, забитые глиной, непомерно отяжелев, переставали крутиться. Вышибало ступицы. Ломались оси.

Петр Алексеевич велел всем пересаживаться на коней и двигаться на канал. У Назии, у Шальдихи государь осмотрел ямы, выкопанные местами среди непролазных болот. Эти неглубокие, в один—два фута, ямы и обозначали будущий канал. Поблизости от Кобоны был проложен ров с берегами, обложенными фашинником. Хоть этот ров как-то походил на канал. Но и его следовало углублять.

Ночь застала государя и его свиту в селе Черном. Все были без сил, промокли насквозь, в грязи по уши. Свита разместилась в крестьянских избах.

В хате, отведенной для ночлега, Петр Алексеевич вдруг увидел тараканов. Вытягивая голенастые ноги, решительно зашагал к двери. Никакой силой нельзя было заставить его вернуться обратно. Этих чудищ государь ненавидел и даже немного побаивался.

Во дворе поставили малую палатку. Принесли туда блюдо с хлебом и вареным пшеном. Петр Алексеевич так устал, что заснул, несмотря на холод.

Начался новый день, и начались раздоры, ехать ли дальше к поселку Дубно. Инженеры и подрядчики в один голос твердили, что продолжение путешествия опасно для жизни государя. Ему и в самом деле было не по себе. Лаврентий Блюментрост после совещания с подрядчиками сказал, что нужно возвращаться в Питер.

Петр Алексеевич посмотрел на Миниха — может, пожалеет, отпустит душу на покаяние. Миних все же заметил:

— Здесь придется все перестраивать. И тот, кто будет это делать без решения вашего величества, — погибший человек.

Государь велел седлать коней.

На пути к Дубно, у Белого озерка и открылось главное непотребство. Там, где, по ведомостям, пролегал канал, были вырыты отдельные ямы размером в квадратную сажень. Они на аршин ниже обычного уровня воды. Земля повсюду оползла. Еще месяц ненастья — и от ям следа не останется.

Линия будущего канала даже не была точно намечена. Перед Дубно она вдруг пошла излучиной...

От усталости, от непроходящих болей в пояснице государь слез с коня, прямо на землю кинул плащ и растянулся на нем. Подозвал к себе одного из инженеров. Сказал ему с укоризной:

— Бывает, человек портит дело от незнания. Но ты же учен... Объясни, зачем сия излучина?

— По причине холмов.

— Какие здесь холмы? Ни одного не вижу.

В Дубно Петр Алексеевич назначил следствие по делу о «канальной лже». Двоих мастеров тут же велел арестовать и в железах отправить в Петербург.

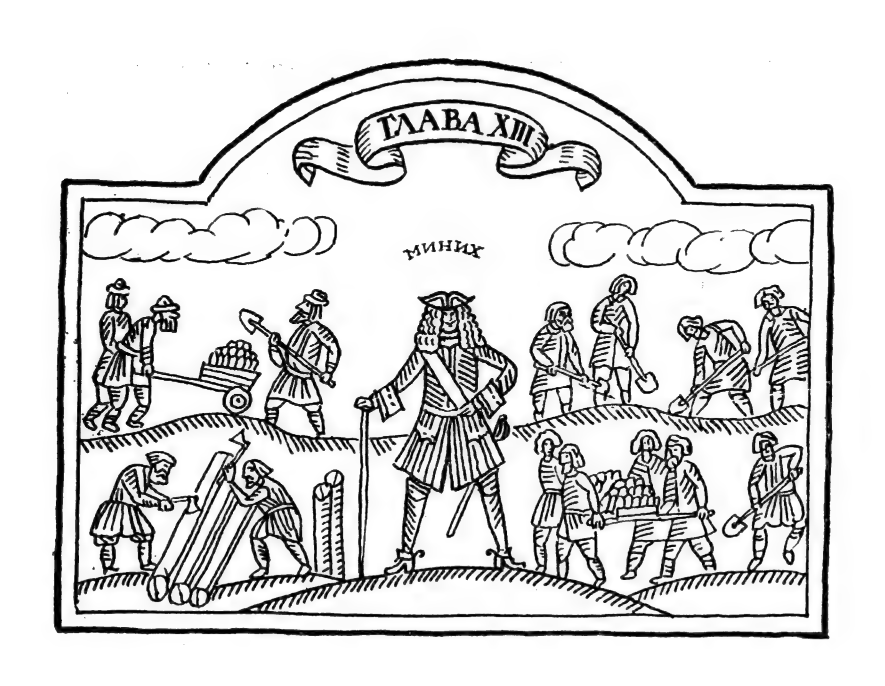
С некоторых пор Петр Алексеевич никому не верил на слово. Даже не очень надеясь на себя, старался приказывать письменно, хотя с пером и карандашом никогда особенно дружен не был.

В столице он несколько дней писал подробнейшие заметки об осмотре Большого канала. Отмечал на дистанции от Назии до Шальдихи места особенно «худые и опасные от озера». Близ Кобоны ямы надобно чистить гребками. Далее «работу — глубить, заделывая выкупную глубь, бревнами с мохом в паз». С возмущением писал о видимости прокопанного, «где сверху только снято земли несколько...»

Конечно навигация даже в близком будущем не предвиделась.

Обидно, горько. Но что делать? Кроме небольшого отрезка в голове канала, приходилось все начинать заново.

В январе 1724 года Миних был назначен генерал-директором строительства Ладожского обходного канала.



О «НОВОЙ МЕТЛЕ» НА КАНАВЕ

Прибыли на канал новые полки: два драгунских — Ярославский и Сибургский, — пехотный Черниговский и два полка Смоленского гарнизона. Полки обосновались на тринадцатой версте, и вскоре здесь появились бесконечные ряды землянок, шалашей, деревянных казарм.

К солдатам прибавилось до семи тысяч бурлаков, которые пришли на канаву «отыскивать себе пропитание».

Вновь назначенный генерал-директор прежде всего позаботился отнести все кладбища подальше от русла. Казармы стали ставить не на болотах, где работные болели от дурного духа, а на сухих взгорьях.

Маркитантам было настрого велено закопать в землю гнилое мясо, тухлую крупу и впредь не торговать лежалым, а хлеб печь тут же, не возить издалека плесневелый да с отрубями.

Миних отлично понимал, что хозяину невыгодно, когда работные болеют. С здорового и сытого человека всегда можно больше спросить.

Канавские работные посмеивались:

— Новая метла чисто метет... Да чисто ли?..

Захару Смирному по душе было многолюдство на канале. Он трудился по-прежнему на копке. Для тех, кто сейчас появился здесь, был уже вроде старый и умелый работник. Таких называли коренниками.

Ладожский канал был большим хозяйством, государевой работой. Здесь без того, чтобы рубаху просолить пóтом, без хитрой сноровки никак не обойтись. Это хорошо сознавал бывший раскольничий питомец, бывший рыбак, ныне землекоп Захар Смирной.

С каждым месяцем канальное дело обретало вид обдуманного «регулярства». Линия русла была в точности прояснена и на десятки верст от Волхова до Невы обсажена молодыми елями. Вдоль нее протянулась хорошо выровненная дорога с мостами через реки и гатями на болотах.

Людей на канаве не сразу разглядишь, хоть их многие тысячи. Все в глубине, врезаются в земную твердь. Только и видно, как над головами посверкивают лопаты и мокрая глина шмяк-шмяк, да длинные цепочки возчиков с тачками толкают впереди себя тяжелый груз.

Ложе рукотворной реки роют теперь не ямами, как прежде, а во всю ширину десяти сажен. Вершок за вершком, слой за слоем до самой подошвы канала.

Ох, и тяжела же она, землица, когда у тебя день-деньской лопата в руках. Ничего на свете нет тяжелей земли и ничего нет родней ее. Она и хлебушек родит, и дорóгой под ступни ложится, и в должный час твой бренный прах примет.

Самое подходящее это дело для человека — на земле работать.

Смирной уходил из землянки затемно и возвращался в темноте. Дня не видел, уткнувшись в оползающую стенку канавы. Усталость не печалила Захара. Молодой силы ему отпущено с излишком.

Из поездки по берегам Ладожского озера Смирной вернулся в землянку, как в родной дом. Другого у него не было.

Приехал он поздно вечером. Конечно, взгрустнулось при мысли, что та, для которой он украшал свое немудрое жилище, уже не переступит его порога. Поломала Дарёнка все

мечты, все надежды. Не встретит она его у двери, не приветит добрым словом усталого.

Так, видно, ему на роду написано — бобылем вековать. Никто не заменит Дарёнушку...

Бабка Степанида рада была возвращению Захара. Подставила морщинистую щеку, чтобы поцеловал.

Всего больше удивился он, когда с топчана поднялся Василий и, прихрамывая, шагнул навстречу.

— Живой ведь! — не веря себе, вскрикнул Захар и обнял Василия. — Как есть живой!

Степанида Федоровна выходила его лаской, заботой, умением. В том никакой своей заслуги не признавала:

— Эка дело — живое мясо срастить. Были бы кости целы.

Василий недели две лежал в беспамятстве. Бабка ухаживала за солдатом, как за малым ребенком, со слезами и причитаниями в бессонные ночи. Но стоило ему стать на ноги, она сказала:

— Жить будешь, еще не раз спину под батоги подставишь...

Как ни поздно приходил Захар с канавы, он выкраивал время, чтобы побродить по лесной просеке с Василием. Не смешно ли — такого большого мужика надо заново учить ноги переставлять.

Ночной лес был хорош непередаваемо. При полной луне как-то становилось заметным то, что днем не привлекало внимания. Березовые листы, не зеленые, а серебристо-белые, светились среди тонких стволов. Молодые ели выбросили по краешку ветвей пушистые, нежные кисточки, словно в ризы оделись. Растут елки на косогоре тесно, и потому кажется, что они бегут дружной, веселой толпой, сплетая руки-ветки.

На опушке, видать, давненько уж похозяйничали сохатые. Всю молодь погрызли, и разрослась она причудливо: одно деревце веточку заместо вершинки пустило, другое ствол коленцем в сторону подвинуло. Рябинка откинула засохшую вершину и новую зеленым пучком выкинула откуда-то сбоку. Все, даже изуродованные деревья, непреодолимо, жадно тянутся ввысь...

Василий поковыляет, поковыляет, крепко обопрется на палку, остановится. Сорвет листочек, разотрет его в жестких ладонях. Дышит весной, будто пьет брагу взахлеб.

Странно это Захару. Однако видит, что Василий все крепче на ногах утверждается.

На людях солдат почти не показывался. Разве с Захаром сходит выкупаться на озеро, и то выберет место поглуше.

Как-то Смирной помогал Василию влезть в рубаху. На спину в синих, неровно сросшихся рубцах старался не смотреть. Белое полотно натянулось на все еще могучих плечах. В распахнутом вороте, во всю грудь, виднелся поросший волосом еще один широкий шрам. Захар не удержался:

— Как тебя, горемычного. Батожьем и грудь исхлестали.

Солдат пятерней растер шрам:

— Нет, это меня не палач поцеловал. То под Выборгом шведский рейтар сабелькой маханул... Поверишь, до сих пор к дождю саднит.

Помолчали. Смирной спросил:

— Что дальше делать будешь? Снова — в полк?

Но ответа не дождался. И спрашивать перестал...

Однажды, уже на переломе лета, в вечерний час, все обитатели землянки собрались за столом. Светец не зажигали. В северные прозрачные ночи нужды в том не было.

Вдруг дверь отлетела. Через порог ввалился большущий и странный ком. Сначала подумалось, не зверь ли. Но он почеловечьи застонал. Подполз к столу, давясь, залопотал что-то.

Захар схватил этот ком в охапку, изо всех сил тряхнул. Тогда распрямился человек, и Смирной узнал Егора Шеметова. Лицо его, изуродованное клеймом, было залито слезами.

Егор грохнулся на колени и пополз к Василию. Сквозь рев с трудом можно было разобрать слова:

— Христа ради, прости!

— За что же прощать, если вижу тебя впервой? — озадаченно спросил солдат.

Смирной взял Шеметова за плечи, подвел к скамье, посадил. Но он сполз на землю, словно ему так было ловчее.

Запрокидывая волосатое, страшное лицо, Егор горячо проговорил:

— Сколько душегубств на веку повидал, думал, задубело все в нутре. Ан нет... Видел я, как тебя под палками вели. Ждал, выть будешь, как все. А ты словечка не проронил. Кровью весь облился, молчишь... Это вот, что смолчал, всю душеньку во мне перевернуло... Ладно, думаю, пройдет, и не с таким люди живут. А не прошло... Нынче, смотрю, идешь ты по просеке, хромаешь. Сердце мое будто в кулак сжало...

— Слушай, — помрачнел Василий, — чего ты все это ворошишь?

— Так ведь я же во всем виноватый, — завопил Егор, — за меня тебя исполосовали! Я украл!

Захар и бабушка Стеша подвинулись к Шеметову. Василий слушал спокойно и безразлично: было и быльем поросло. Но, видать, вору нестерпимо хотелось, чтобы все знали его тяжкий грех, только в том и искал его отпущение.

— Понимаешь, — говорил он, — приметил я через окошко тот самый мешок в расправе — так все работные называли управу, — приметил, подождал, когда казначей выйдет, окошко легонько откинул и схватил мешок, не подумал, что с деньгами-то его на столе не оставили бы. Схватил — и наутек. Издали успел разглядеть, как солдат шел мимо расправы и его взяли... А это был ты...

Слушавшие потупились. Захар посмотрел на Василия. Тот сурово сжал губы.

— Молчишь? — закричал Шеметов. — Говори, богом прошу. Хочешь, на миру покаюсь? Людям поклонюсь. Не ты, пускай народ простит меня.

Солдат поднялся, заковылял к оконцу, в которое уже ночь смотрелась. Не поворачиваясь, сказал:

— Для чего это? Ну, и с тебя шкуру спустят, как с меня. Брось, право, брось.

Бабушка Стеша налила в кружку молока, подала Егору. Он отстранил ее руку. Прошептал:

— Не простил, нет, не простил.

Шеметов, пошатываясь, вышел из землянки...

Василий Иванов прожил у Захара еще с неделю. В конце ее попросил Смирного обменяться крестами. Оба сняли из-под рубах потемневшие от пота медные кресты, и каждый повесил другому свой на шею. То был старинный обычай братовства.

Тогда же Василий сказал Захару:

— Ты всегда будешь мне родной кровью.

И Степаниде Федоровне сказал:

— Спасибо, матушка, что во второй раз жить пустила.

Никто не обратил особенного внимания на эти слова — было за что благодарить. А Василий прощался.

На следующее утро Захар, проснувшись, увидел, что топчан, где спал солдат, пуст. Больше Василия Иванова в земляном поселке не видели.



О СВИДАНИИ ДРУЗЕЙ НА ТИХОМ ПОДВОРЬЕ

Гавриил Резанов, как «механик поручицкого ранга», работал на всей линии канала, но главнейше был определен ко второй его половине — невской. По этой причине жил он в подворье, ближе к Шлиссельбургу.

Посад шлиссельбургский шумел на левом берегу Невы. Подворье же находилось на правом. В тишине соснового бора, неподалеку от озера стояли несколько простых крестьянских изб. Сюда долетал гул волн, слышался крик чаек.

Каждое утро Резанов переправлялся через быструю в истоках Неву. День проходил в грохоте топоров и пил, в скрипе лопат, режущих землю, в разноголосице, окриках, понукании, брани. Зато вечером без помехи любуйся синими ладожскими далями, что начинаются за порогом избы.

Как-то странно складывался характер Гавриила. Военный строитель, по необходимости живущий «на толчке», среди

людей, он между тем любил тишину. После Парижа лесной, озерный край не тяготил его, не вызывал скуки и желания рассеяться.

По вечерам Резанов любил сидеть на порожке, дымить трубкой и прикидывать, где бы поставить ульи, где построить рыболовецкую тоню.

В один из таких вечеров на дороге, огибающей озеро, застучали копыта. «Наверно, объездчик на ближние делянки спешит», — подумал Гавриил. Но стук приближался. Вот уже лошадиный храп слышен. И голос, такой знакомый, гортанный, кого-то спросил:

— Где тут живет царев указчик? — Последние слова были сказаны с усмешкой, сразу все напомнившей.

Всадник осадил коня перед крыльцом, ловко соскочил со стремени. Конечно же, это он, дружище, «арап», чертушка. Резанов и Петров долго мяли друг друга в объятиях. «Арап» спросил:

— Чего ради ты в такую глухомань забрался? Право, заправский помещик. Ты, Гаврюша, наверно, сам и наливки настаиваешь?

Черный инженер пошутил. А наливка действительно нашлась, рябиновая, терпкая, чуть кружащая голову.

— Надолго ли к нам? — спросил Резанов.

— Как поживется. Ты меня к Миниху сведи...

На Ладоге государев крестник прожил гораздо дольше, чем рассчитывал вначале. Как уехал к голове канала, так и не показывался в подворье несколько дней.

Строительство увлекло его до чрезвычайности. Он облазал берега, ощупал своими руками их фашинную одежду. Проверил откосы. Повсюду была выдержана точная мера. Одно это уже говорило об инженерной продуманности и точности.

На первый, уже начавший действовать водоспуск — его называли Красным — Абрам Петров пришел утром и до сумерек не покидал его. Водоспуск сооружен был в насыпной дамбе. Тяжелые затворы поднимались простым воротом. Тут же пролег довольно широкий деревянный мост.

В большом чертежном альбоме «арап» сделал беглые эскизы шлюза. Потом забрался на мост и стал рисовать дамбу и всю широкую, расходящуюся лесными просеками картину строительства.

Нетолстая земляная перемычка отделяла готовые двена-

дцать верст канала от новых четырех, которые прокладывал Миних. По всему видно было, что он спешил присоединить их к головному отрезку, чтобы показать государю свое умение. Здесь фашины у бровки канала заменяли сосновыми досками. Полные тачки земли вывозили бегом. Механические насосы захлебывались, выбрасывая потоки воды.

Петров сидел на мосту, мурлыкал что-то и рисовал, то и дело прикидывая масштаб огрызком карандаша.

Из дверей портомойни, стоявшей поблизости от шлюза на берегу озера, выбежали две прачки. Они увидели черного человека на мосту, заохали, закрестились, попятились. Одна шепнула другой:

— Гляди хорошенько. Рога из-под шапки торчат?..

Землекопы, насыпавшие дамбу, у приезжего инженера рогов не искали. Черноте его дивились. Но потихоньку, необидно. А когда заметили, сколь толково он разбирается в затворах водоспуска и как, не боясь грязи, облазал откосы, начали почтительно говорить о нем.

Так как ночь застала «арапа» на тринадцатой версте, а крестьянских изб поблизости не было, ему предстояло переночевать у костра или в землянке.

Его уже привели на ночлег в самую большую и чистую из них. Обитателей землянки собирались выгнать в лес, благо ночь не холодная. Но в это время приезжего разыскали генеральские адъютанты. Миних прислал за ним лошадей из деревни, где в это время находился.

Резанову не пришлось представлять своего приятеля генерал-директору. Он конечно давно слышал о царевом крестнике.

Для Миниха всего важнее было, что этот человек близок Петру Алексеевичу. В первой же беседе черный инженер обнаружил глубокие познания в гидравлике и механике. Да и своим характером, который был, как говорится, весь наружу, порывистостью, горячностью, непререкаемой правдивостью он понравился Миниху.

Несмотря на значительную разницу в возрасте, жизненном опыте и чинах, обоим инженерам было интересно разговаривать друг с другом. Тем более, что Петров прибыл на Ладожский канал неспроста.

Он уже создал одну кондукторскую школу в Кронштадте. Другую решил завести на Большом канале. В школу набирали молодых парней простого звания. Здесь они готовились

стать кондукторами — помощниками инженеров в строительном деле. Обязательным условием было одно — будущие кондукторы должны знать грамоту. Петров обучал их математике, геометрии, землемерству. Потом сам же учинял экзамен.

Эта возможность получить своих собственных кондукторов, которых на канале вовсе не было, воодушевила Миниха. Он кликнул капитана Людвига, всегда находившегося поблизости от генерала:

— Есть у нас грамотеи?

— Помилуйте, откуда им быть? У нас ведь самые простые мужики. Их дело — лопата, топор... Учить их математике? Невообразимо!

Генерал выказал недовольство. Он громко фыркнул, поднял плечи.

— Вы неправы, господин Людвиг. Например, со мной ездил этот... как его... Он превосходно пишет. Как же вы не знаете? Вы должны знать.

— Если угодно, поищем грамотных, — с готовностью поспешил заверить капитан.

А сам подумал: не пришлось бы обучать этих сиволапых азбуке, чтобы выполнить приказ начальства.



ОБ ИНЖЕНЕРАХ-КНИГОЧЕЯХ

В подворье Абраму Петрову не сиделось. Он снова ускакал на головное строение.

Здесь, на четырнадцатой версте, на только что выровненном откосе сидели человек двадцать землекопов. Они передавали друг другу берестяную табакерку и неторопливо разговаривали. Черный инженер сразу обратил внимание на одного из них, мрачного, в отрепьях на широченных плечах, и на другого — молодого, чернявого, с бойкими глазами. Среди землекопов были и седобородые, но чернявого слушали внимательно, с явным одобрением.

Все смотрели вниз, на дно канала. Двое спустились туда и лаптями месили грязь, споря о чем-то.

Петров с одного взгляда понял, чем озадачены землекопы. Русло перегородил огромный, как китовая туша, валун. «Арап» начал мысленно прикидывать решение этой неожидан-

ной задачи. Оставить валун здесь нельзя, покривить русло невозможно.

Подрыть камень, утопить в земле? Взорвать его? Пока привезут порох, сделают шпуры, зарядят их — работы придется остановить на несколько дней.

Инженер раздумывал, а землекопы уже трудились над валуном. Они глубоко обрыли его и вокруг разложили огромный костер, вернее сказать — костры, их было около дюжины.

— Правильно! — крикнул «арап» с откоса.

У землекопов не было времени отвечать на похвалу. Сначала повалил густой дым, потом чистое, высокое пламя охватило весь камень. Накаляли его долго.

Уже к вечеру молодой чернявый землекоп подхватил рукав от водоливной машины и направил его на валун. Зашипел пар, что-то защелкало, затрещало и вдруг громыхнуло, словно рядом выстрелила целая батарея. Широкоплечий мужик первый вскочил на камень и, приплясывая задымившимися лаптями, всадил кол в широкую трещину.

Прием можно было повторить. Убрать же раздробленные осколки и все, что оставалось в грунте, не великий труд.

Землекопы посидели, поговорили. И снова взялись за лопаты.

Инженер-поручик подошел к работавшим рядом плечистому и чернявому, спросил, как их зовут.

— Егор Егоров сын Шеметов, — ответил старший, надвигая шапку на лоб.

— По имени Захар, по фамилии Смирно́й, — сказал парень.

Оба, не разгибаясь, продолжали орудовать лопатами.

— Вы, братцы, грамотные? — спросил «арап».

Снова первым отозвался старший:

— Не умудрил господь.

— Пишу, читаю, — бойко ответил Захар.

— Постой, постой, — вспомнил инженер-поручик недавний разговор с Минихом, — не тебя ли генерал называл «Этот, как его»?

Смирной рассмеялся:

— Ну, скажи, пожалуйста, везет человеку. Фамилия моя, если правду сказать, всего-навсего кличка. И ту господин Миних не изволил запомнить. Мы с ним всю Ладогу изъездили, а он так и говорил: если мне — «Эй, как тебя», если обо мне — «Этот, как его».

Петров заметил строговато:

— Неуважительно говоришь о генерал-директоре.

— Виноват, ваша милость.

Захар оперся на лопату и ступил повыше, чтобы ловчее брать новый слой.

Инженер-поручик молча наблюдал за работой молодого землекопа. Затем спросил:

— Ты учиться хотел бы?

— Как прикажете.

Петров подумал: «Обиделся. Откуда гордость у мужика?» Сказал, смягчая голос, чтобы не прозвучало приказом:

— Подбери десяток грамотных товарищей. Приходи в подворье к механику Резанову.

— Слушаю, ваша милость.

Захар вытер шапкой потное лицо и всадил лопату в грунт по самый закраешек...

В свободные вечера в подворье на берегу озера двое приятелей, случалось, устраивали такую же веселую возню, как, бывало, в Париже.

Тогда они были учениками, почти мальчишками, нынче стали самостоятельными людьми, инженерами. Но прошло-то всего несколько лет.

По-молодому полные сил, жадные ко всем радостям, господа инженер-поручик и механик поручицкого ранга никак не хотели остепеняться.

У них был обычай, установившийся еще в парижские годы, — дарить книги.

Петров привез в Питер несколько ящиков книг: четыреста томов по гидравлике, фортификации, строительному искусству. Пожалуй, именно у него была одна из самых основательных собственных библиотек в столице. И в резановском обиталище на озере вдоль одной из стен до самого потолка тянулись книжные полки.

Лет до тридцати оба друга признавали единственным богатством — книги. Стоили они дорого, их покупка забирала немалую долю жалованья. И все же самые интересные издания приобретали для себя и в подарок товарищу.

На этот раз Гавриил припас для чертушки «Книгу о способах, творящих водохождение рек свободное», или, как она называлась для краткости, «Книгу слюзную».

Петров же привез из Петербурга в подарок Резанову «уникум» — календарь, вышедший лет пятнадцать назад, знаменитый «Брюсов календарь».

В этот вечер каждый из приятелей был занят своим делом. Они не мешали друг другу. Гавриил забрался с ногами на койку и читал, обследовал, обнюхивал чертушкин дар, как истинный книголюб. Календарь состоял всего из шести больших листов, каждый оттиснут с медной доски. Но каких только сведений не было на этих страницах!

Первая открывалась стихотворными строками:

Солнце убо на горизонт сей восхождаше.
Осиянием своим свет нам содеваше.

Далее — время восхода и захода солнца, звездные вычисления на много лет вперед. На другой странице — знаки зодиака и тут же обозначены действия на каждый месяц: «водолий — естеством тепл и мокр, лев — тепл и сух, козерог — студен...» В особых таблицах было расписано, «когда кровь пущать, мыслить почать», в какое время «чины и достоинства воспринимать, долг платити...»

Затем следовали подробные предсказания о войне и мирских делах, о плодоносии и недородии, о здравии и болезнях.

Словом, во всех случаях жизни календарь был наставником своих читателей.

Об этом календаре Гавриил давно слышал, но никак не мог его разыскать. А чертушка нашел и деньжат не пожалел для однокашника. Ну и друг, лицом черен, сердцем светел!

В то время как Резанов по уши залез в календарь, Петров уселся за стол. Он что-то писал, от усердия склонив голову набок и нашептывая толстыми губами.

Гавриил оторвался от календаря, спросил:

— Ты что строчишь?

— Высчитываю углы откосов на канальном устье.

Прошло порядочно времени. Тот же вопрос — и тот же ответ. Больно уж долго вычисляет углы инженер-поручик.

Словно некое сокровище, поместил Гавриил календарь на полку и нагнулся над плечом друга. Из-под быстрого пера выбегали словесные завитушки — и ни единой цифры.

Резанов выхватил лист, поднес к глазам и расхохотался.

Чертушка кинулся к нему. Гавриил вскочил на полати и оттуда начал читать вслух:

«Плутовка, кокетка, ярыжница, непостоянница, ветер, колотовка, долго ли вам меня бранить?»

«Арап» улыбнулся, блеснув зубами, и сказал добродушно:

— Ты шепелявишь. Давай сам прочту.

Взял лист и продолжал чтение с чувством, с подвыванием. Письмо было о тоске, об одиночестве; неизвестная адресатка трогательно именовалась «сударыней, глупенькой, шалуньей Филипьевной»... Петров оборвал чтение:

— Ну, до прочего тебе, Гаврюшка, дела нет. А каково написано? Небось прочтет — и сердечко дрогнет. Как думаешь?

Резанов спустился с полатей, крепко обнял товарища за плечи.

— Думаю, что пора тебе жениться.

— Ты забыл наше парижское обещание, — укоризненно произнес «арап», — прежде майорского чина семью не заводить.

— Конечно, бывает, что и майорский патент дают до срока, — улыбаясь, заметил Гавриил, — но за другие доблести...

В тот вечер друзьям не удалось дошутить, довеселиться. Резановский вестовой испуганно доложил:

— Там у прясла целая толпа работных собралась. Просят господ инженеров выйти к ним.

Это пришел Захар Смирной вместе с будущими кондукторскими учениками. Грамотеев на канале оказалось куда больше, чем полагал капитан Людвиг. Многие учились, как Захар, в раскольничьих скитах, иные — у деревенского дьячка «за пятак», некоторые — «самоуком», из великой охоты выйти в люди.

Захар назвал инженер-поручику каждого, кто пришел с ним, где работает, чему учен. И только дойдя до Егора Шеметова, словно запнулся:

— Он вовсе неграмотный. Но больно уж хочет с нами заодно... Да мы его поднатаскаем. Примите и Егора, господин инженер, — просительно заключил Смирной.

Землекопы расселись на желтой, перегоревшей в знойное лето траве.

— Вот что, молодцы, — сказал им Петров, — запомните хорошенько: с этого дня вы не лапотная команда, а кондукторская школа.

До позднего часа инженер-поручик рассказывал парням о строительном деле, о том, что есть математика. Когда кто-то из слушателей ужаснулся — дескать, такой премудрости им никогда не осилить, — «арап» назидательно заметил:

— Нам с Гавриилом Андреичем учиться приходилось за рубеж ездить. У нас же, слава богу, свои учителя есть. Ребята вы смышленые, я на канале повидал вашу работу. Так что в добрый час... А генералу я о вас доложу.

Еще с неделю ушло на устройство кондукторской школы. Условились, что каждый как работал на земле, так и будет работать. Учиться — уроками, вроде тех же землекопных уроков: к назначенному дню сделать, то бишь выучить, столько-то.

Ради будущих школяров инженер-поручик станет приезжать из Петербурга. Постоянный же наставник школы — Гавриил Андреевич Резанов.

На канале к школе отнеслись по-разному. Миних — с одобрением. Людвиг — насмешливо: «Медведя легче научить математике». Сами землерои — озадаченно: «Чтобы нам в ученые выйти — ни в жизнь».

Однако первый урок оказался нетрудным: промерять расстояния и глубины канального русла. Потом с помощью Резанова делали нивелацию на пятнадцатой версте. С начальных шагов привыкали парни к цифири...

Наступило раннее утро, когда черный инженер вывел коня и уже с седла крикнул парижскому однокашнику:

— Не скучай, Гаврюша!

Вот так в жизнь Абрама Петрова вошло строительство Ладожского канала. Как судить: случайно ли, прочно, надолго?..

Минует время, в тяжелые годы, полные угроз и опасностей, именно здесь, в озерном краю, он будет искать убежища. И десятки лет спустя, когда государев крестник станет главноуправляющим Ладожского канала, он сам скажет, что это — плодотворнейшая пора его инженерства.



О ТРЕХ ЗЕМЛЕКОПАХ В ОДНОМ РЯДУ

К осени на Большом канале работало двадцать пять тысяч человек. Бурхард Кристоф Миних, или, как его именовали на российский лад, Христофор Антонович, торопил свою армию. В отделку вступили тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая версты, и на четырех следующих работы подходили к концу.

Еще летом Петр Алексеевич собирался взглянуть, что делается на Ладоге. Но неотложные дела задержали его, и он прислал с дороги, как всегда, небрежно написанную записку: «Господин генерал-лейтенант. Желали вы, чтоб я работу видел и так ли ведена, того и я зело желая, и ежелиб хотя часа 4 ранее приехал, конечноб поехал. Но понеже имею нужду поспет завтра в Питербурх, того для прямо еду... А в актебре всю работу везде осмотрю. А междо тем, надеюсь на ваше искусство, что вы инако не зделаете, как надлежит».

Но вот уж и «актебрь» не за горами. Миних замучил землекопов, сам потерял сон и покой. На эти месяцы поселился в Дубно, поближе к работам. Требовал, чтобы на земляной выемке, на рубке фашины, на плотницкой отделке берегов работали дотемна. Да еще и кусок ночи прихватывали, осветив русло кострами.

В свою землянку Захар возвращался всего на несколько часов, немного вздремнуть. Вместе с ним всегда рядом работал на копке Егор Шеметов.

Казалось бы, после того, что произошло недавно, после позднего покаяния в воровстве, в страшной вине, за которую пострадал другой человек, между ними должна возникнуть вражда. Но этого не случилось.

Шеметов сам наказал себя муками совести, пробудившейся, наверно, впервые в жизни. Он не таился, многим рассказывал о своем преступлении. Простые люди всегда сердечно сочувствуют раскаявшемуся.

Смирному, как побратиму солдата, Егор сказал:

— Хочу послужить людям.

Дело шло о служении прямом, честном, работном. Вместе со всеми на Ладоге Шеметов знал, для чего строится канал, знал, что им спасаются многие жизни.

Первым Егор брался за лопату и последним оставлял ее. В опасности, поползет ли грунт, прорвется ли вода, он раньше других бросался вперед. Подставлял грудь под удар.

Все это видел Захар, понимал без слов. Лучшего товарища ему не сыскать.

Вскоре к ним двоим примкнул и третий. Да так-то нежданно-негаданно.

В знобкий день, когда ветром секло лицо, прохватывало насквозь одежонку, Егор с бровки крикнул Смирному, который кайлом разбивал крепкий грунт на подошве канавы:

— Тут тебя горбун юродивый кличет.

— Давай его сюда, — последовал ответ.

Шеметов попросту так и сделал. Схватил маленького человечка за шиворот и «подал» его на дно. Человечек не обиделся, а обрадовался:

— Вот ты где.

— Акимушка! — удивился Смирной. — Пришел-таки.

Это был Акимушка-чертопруд. Он похудел, обносился до дыр и в самом деле походил на юродивого. Не зная, как найти Смирного, он несколько верст пробежал вдоль

канала, выкрикивая: «Заха-ар!» — пока не наткнулся на Шеметова.

— Чего-то ты нынче больно некрасивый стал, — заметил Смирной.

— Горе не красит, — вздохнул горбун.

— Какое же горе у тебя?

— Прогнал меня хозяин, ни копейки не дал, еще и собак натравил.

Все дело в том, что мельница, для которой Акимушка строил запруду, «не пошла». Он говорил, что жернова тяжелы не в меру, хозяин твердил, что чертопруд подал «слабую воду» на лопасти.

— Может, ты и вправду в чем ошибся? — усомнился Захар.

— Ни на столечко, — показал Акимушка полмизинца, — все сделал как заведено. Ряжи проверил. Окрестясь, шкалик водки в реку вылил, водяному взмолился: «Отсунь, засунь, присунь...»

Захар и Егор, спрыгнувший вниз, хохотали от души. Акимушка рассердился:

— Чего ржать-то? Я запруду строю по-писаному. Мой батюшка и его батюшка — стало быть, дед мой — были по плотинному делу первые мастера. Все, что умели, собственной рукой записали и мне отдали... Ржать-то, говорю, нечего...

— Топай, Акимушка, поскорей в мою землянку, — посоветовал Смирной, — она поблизости. Обогрейся, отдохни. И вот о чем подумай: не пойти ли тебе в нашу земляную братию?.. Только ведь тут водку в озеро не льют и водяному не молятся.

— Что же, — горестно ответил Акимушка, — мне податься больше некуда. Мельник меня на всю округу ославил.

С того дня стали они работать трое в ряд — Захар, Егор и Аким. Правда, горбун и половины земляного урока сделать не мог. Двое других помогали. Жалеть о слабосильном товарище не приходилось. Чертопруд оказался на редкость мозговитым.

Тогда на канаве день ото дня тяжелее становилось. Землекопов заливало водой. Работали по колено в мокрети. Всего же труднее было подносить материал на место. Отсыревшие бревна, словно чугуном налитые, ломали плечи.

На канальном деле Акимушка освоился довольно скоро.

Осердясь, даже стал поругивать своих приятелей, хотя работали они могуче, во весь мах, силы не жалели.

— Дуболомы, — ворчал горбун, — этак недолго и жилу порвать. Нет того, чтобы сообразить, умом пораскинуть и работушку спроворить полегче.

Любому другому за злое слово Егор и Захар крепко накостыляли бы. Акиму прощали. Добродушно соглашались:

— Ладно, давай вместе смекать.

Смекали неделю, другую. Никакого толка. Вода уж не по колено заливает работных, «под табак» подошла, мочит кисеты в карманах. Землекопы переругиваются. Пожалуй, всех больше достается горбуну. Думал, думал Аким, а потом возьми и скажи:

— Давайте в нашей канаве еще канаву пророем. Так способнее будет.

При том разговоре присутствовал Резанов. Он сразу насторожился:

— Растолкуй.

Чертопруд прутиком на глине нарисовал полный профиль канала, а на дне его — еще выемку.

Механик внимательно пригляделся к новому землекопу.

— Ты сам не понимаешь, какое это нужнейшее дело.

Аким рассмеялся, показав свои мелкие, острые зубы:

— Может, и понимаю.

— Ребята, — крикнул Резанов землекопам, — ройте сквозь подошву Акимушкину канаву — аршин глубины, ширина вдвое!

Когда нужная работа умно сделана, все диву даются: до чего просто, почему раньше не догадались? Так получилось и с этой канавой в канаве.

Точно по команде, вся дождевая и ключевая вода ушла в нее. Людям стало легче землю брать. Уж не хворали так тяжело от постоянной сырости. Раньше привычным было, что по ночам в казармах и землянках стонут, чуть не кричат от боли в суставах. Холодная вода калечила землекопов. Теперь рыли сухую землю.

За многое можно было сказать спасибо Акиму и напарникам, которые первыми сделали работу по его слову. Акимушкина стежка протянулась на версту, другую, десятую...

Тогда сама собой возникла и другая мысль: нельзя ли малое русло запрячь в работу? Пускай оно вместо человека бревна таскает.

Только Егор и Захар, известные на канале силачи, могли вдвоем пронести бревно с полверсты. Другие за сырое бревно брались втроем — вчетвером и отдыхали, пройдя сотню сажен. По совету горбуна его товарищи изготовили багры, ловко столкнули в канаву бревна одно за другим и погнали их вперед. Полсотни бревен они перебросили от Красного шлюза до Дубненского водоспуска с быстротой необыкновенной.

Плотники, крепившие берега канала, зная, что лес притащат дня через три, не раньше, ушли в соседнюю деревню отсыпаться. За ними вдруг прискакал верховой с приказом тотчас вернуться на канал и начать задел откосов, так как бревна уже на месте. Плотники не поверили. Когда же увидели, что и в самом деле канал забит лесом, решили простодушно:

— Тут нечистая сила постаралась.

Акимушка, прибежавший вслед за Егором и Захаром, на это ответил:

— Водяная сила помогла, самая что ни на есть чистая.

Гавриил Резанов, обогнав на коне этот придуманный землекопами длинный плот, похвалил их:

— Так работать, молодцы... Мы и дорожку выровняем, чтобы на ходу легче багром цеплять. Да еще попробуем бревна парами связывать.

Христофор Антонович подкатил к водоспуску в бричке на высоких колесах, приспособленных к болотному бездорожью.

— О, я вижу, настоящий кювет, — дал он ученое имя Акимушкиной канаве.



О ГОСУДАРЕВОМ ПРИЕЗДЕ НА БОЛЬШОЙ КАНАЛ

В жизни государя Петра Алексеевича наступила грустная пора, когда все происходит в последний раз. Большой канал на Ладоге, после всех жестоких неудач, был его последней отрадой.

В конце октября 1724 года, памятуя свое обещание Миниху, тайно от всех домашних он велел снарядить яхту. Лейб-медик Лаврентий Блюментрост узнал об этом, когда государь был уже на борту. Блюментрост слезно просил Петра Алексеевича не предпринимать рискованного путешествия.

— Ты же сам намедни уверял, что в моем здоровье есть улучшение, — преспокойно сказал государь, — значит, прогулка принесет только пользу.

И с этими словами велел убрать трап.

Как это и прежде бывало, Петр Алексеевич под парусами дошел до верховья Невы, там пересел в возок. В Дубно при-

ехал только к полуночи. Поселок не спал. Дорогу к дому Миниха освещали факелами. Поверх глубоких луж в изобилии был брошен еловый лапник. С крыльца прямо в грязь спускался дорогой золототканый ковер.

Петр Алексеевич из своих покоев не вышел даже к столу. Миниха отослал от себя:

— К утру приготовь лошадей, а вечером поставь буер под паруса. Всё. Иди, генерал.

Почти всю ночь государь не мог заснуть. Мысли, которые тревожили его в эти месяцы, и сейчас не давали покоя, когтили душу. В бессонице все воспринималось остро, смятенно, тревожней обычного.

Петр Алексеевич давно уже отдавал себе отчет в том, что близится к своему концу. Кажется, ни на час, ни на минуту не оставляла его мысль о будущем. О будущем не для себя — для России, которую он поднял к небывалому величию. Полдюжины открытых портов на Балтийском берегу. Новая столица в начале бесконечных морских дорог, где русские купцы торгуют со всем миром... Каждому делу, каждому бою отдана частица сердца.

И вот сейчас нечем дышать. Душно... Ему, единодержавному повелителю огромной страны, при жизни названному Отцом отечества и Великим, много ли ему надо? Вздохнуть всей грудью, только всего. Ан нельзя. Тяжко завалило, давит горло. Душно. Ох, как душно... Нет, это пройдет. Сейчас пройдет...

Но, боже мой, как мало сделано. Все задуманное — в начале. Кому доверить завершение трудов?.. Русь, Московия, Россия! В чьи руки отдать бесценную судьбу твою?

Соратники в битве и совете? Алчны, бессовестны.

Наследник, сын? Что уж там, впору завыть от боли. Своими руками отдал его на смертный суд сената, яко предателя отца и родины.

Внучек, Петруша маленький? Дитя неразумное. Кто еще станет за его спиной... Дочери? Беззаботные распустехи. Тут и думать не о чем.

Катринхен, Катенька? Не великого ума баба... И все-таки — она, коронованная в первопрестольной, видать — она...

Мысли путались, сталкивались, разбивались одна о другую, как льдины в предзимнем водовороте.

Отчего же так больно дышать? Сейчас надо вобрать в грудь побольше воздуха, еще, еще.

Петр Алексеевич застонал и открыл мучительно сомкнутые веки.

Привычно постучал тростью о пол, вызвал камердинера. За завтраком был резок, хмур. Торопил Миниха.

Наступило солнечное утро. Ветер рябил воду. На стенах сараев и магазейнов, протянувшихся вдоль двенадцатой версты канала, вздрагивали и перемещались отраженные волнами блики.

Начиная с тринадцатой версты канальное ложе было сухо, фашинная, местами дощатая, а кое-где каменная одежда откосов — обнажена.

Петр Алексеевич полез осматривать водоспуски. Пальцами принялся раскапывать землю вокруг врытых столбов — хорошо ли обожжены? Берега проверил от бровки до подошвы. Нашел открытые зазоры, наорал на кого-то.

Многоверстный кювет на дне заметил сразу и тотчас понял его назначение. Государь обнял Миниха, потерся седой щетиной о его розовую щеку, сказал дружелюбно:

— Умная твоя немецкая башка.

Двенадцатая обводненная верста канала от сухой тринадцатой и следующих была отделена глухой земляной перемычкой. У берега качалась яркая — сверху желтая, ниже ватерлинии зеленая — лодочка.

Генерал-директор протянул Петру Алексеевичу руку, помогая ступить в лодочку. Государь не заметил руки, шагнул и ловко, по-моряцки выровнял сильно качнувшееся суденышко.

Миних осторожно спрыгнул с берега и почтительно подал серебряную лопатку. Государь повертел ее, бросил, взял со дна лодки широкий заступ и ударил им в перемычку.

На плоту подплыли двое землекопов, чтобы обрушить упрямую гряду. Накануне ведь у основания ее подрезали и слегка забросали глиной. А вот поди ж ты, держится.

Петр Алексеевич погрозил кулаком тем двоим на плоту, чтобы не приближались. Перебросил заступ в ладонях поудобнее и снова всадил его в перемычку.

Земля крошилась, оседала, темнела, пропитанная влагой. И вдруг раздалась. Вода хлынула в русло. Желто-зеленая лодочка стремительно рыскнула с первой волной, ткнулась носом в берег. Петр Алексеевич оттолкнулся ногой, крикнул Миниху:

— Греби!

Но сухопутный генерал не очень точно знал, как надо обращаться с веслами. Петр Алексеевич сам схватил их и всадил в уключины. Он зычно гоготал. Весла гнулись в его руках.

Однако первый поток чем дальше, тем заметней смирялся, частью уходил в землю. За ним шла вторая волна. Грести становилось неудобно.

С берега перебросили ременные вожжи. Ими зацепили суденышко. Четыре босоногих мальчугана, одетых в матросскую робу, потащили его с веселым визгом.

Сорванцы совсем забыли, кто на другом конце вожжей, пустились вскачь. Лодочка накренилась, бортом черпнула воду. Миних растерянно замахал руками. Государь засучил штаны до колен, сгреб в охапку генерала и вместе с ним выбрался на берег.

Ребятишки бросились врассыпную, Миних — за ними. Петр Алексеевич упер руки в бока и смеялся неудержимо.

Он был счастлив тем, что на его глазах начал существовать новый кусок канала, и еще — удивительным, внезапным ощущением здоровья. Хворь на какое-то время отпустила его, верилось — это надолго, болезнь не вернется.

Подошел Миних, смущенный, с извинениями. Государь огромной своей лапищей ударил его по плечу:

— Хвастайся, умная голова, что еще сделано?

Сели на коней. Генерал-директор, важный и преисполненный чувства собственного достоинства, показывал работы ближней дистанции.

Петр Алексеевич на людях всегда чувствовал себя лучше. Его радовали эти многие тысячи крестьян и солдат, занятых работой, такой трудной и такой нужной. Он не усидел в седле, долговязый и худой, пошел мерять землю саженными шагами. Он смешался с пильщиками, разваливавшими бревна на доски, с плотниками, что крепили фашины, с кузнецами — они раздували мехами горны, чинили железные водоливки. Государь у одних брал пилы и, прищурив глаз, смотрел, хорошо ли разведены, другим помогал ладить настил под колеса тачек, а то становился рядом с дюжими парнями, которые сбрасывали с телег мелко битый щебень.

В действительности Петр Алексеевич, наверно, скорее мешал людям, чем помогал. Но он не умел в таком деле сторониться, больше всего на свете любил видеть работающих.

Скрип и грохот колес, стук топоров, крики коногонов,

ржанье коней — все это горячило кровь. Ухали копры, при каждом ударе вздрагивала земля и сваи приметно подавались вглубь. Пели, как струны, толстенные канаты, натянутые лебедками. Государь, закинув голову, раздув ноздри, слушал эту громыхающую диковатую музыку.

Что видел он сейчас, с высоты своего богатырского роста? О чем думал в ту минуту? Он понимал, как трудно его работному люду, мужикам, солдатам. Он не жалел их. Но не жалел и себя. Он был кроваво жесток, а помыслы его обращены в будущее.

Русь была святыней этого необыкновенного человека, и он кнутом, кулаком, дыбой гнал ее в пекло сражений и строительств.

Знал ли Петр Алексеевич, что по городам и весям страны его больше ненавидят и хулят, чем славят? Знал. Мог ли он не понимать, что вот ими — лапотниками, мужиками в сермягах, воющими под непомерной тяжестью, взваленной на их плечи, отмахивающими пот, что заливает глаза, стонущими и проклинающими, — ими держится Россия?..

Государь не слышал, о чем говорил ему Миних. Как-то сразу огрубевшим голосом негромко спросил, готов ли буер, и напомнил:

— Через десяток дней снова приеду. Сделай все, как обещано.

С канала Петр Алексеевич уехал через Новую Ладогу в Новгород и дальше — на Ильмень-озеро и в Старую Руссу. Дел и там у него нашлось много. Осматривал соляные ключи, заводы.

На Ладогу вернулся точно на десятый день. К этому времени был начисто готов к приему воды еще один отрезок русла.

Доволен был государь чрезвычайно. Велел Миниху вместе с ним ехать в столицу.

На пороге дворца жене, выбежавшей навстречу, сказал:

— Катенька, трудами, виденными на Большом канале, я излечился от болезни. — И продолжал, весело поглядывая: — Надеюсь в скором времени вместе с Минихом водой плыть из Петербурга в Москву и стать в Головинском саду на Яузе...

В ноябре выпал первый снежок. Он припорошил дороги, крыши домов. Ударили морозы. Наст окреп и стал звенеть под ногами.

На Ладожском озере зима обычно суровей, чем в Питере. Петр Алексеевич побоялся, не померзли бы люди, не остановились бы канальные работы. Он пишет указ, короткий и требовательный: «...велеть солдатам и драгунам, которые ныне обретаются, дать в сем ноябре месяце время к отдохновению... а потом тем солдаты и драгуны при том канале, где нынешнею зимою и предбудущим летом работа будет, для житья определенных к той работе баталионам построить по 6-ти или 7-ми изб на каждый баталион, дабы в зимнее время без квартир не понесли нужды».

Государь непрестанно торопил адмиралтейцев со строительством шхун. Он жаждал увидеть суда, плывущие по Большому каналу.



О ЧЕМ ГОЛОСИЛ НАБАТ

Январь 1725 года выдался на редкость многоснежным. Белые тяжелые пласты ломали деревья. У старых елей гулко отлетали сучья, у молодых березок — перегнутые вершинки. Будто по лесу, без дороги прошагал леший и от нечего делать затеял злую потеху.

Близко к полуночи в дубненском доме канального генерал-директора кто-то постучал в окошко. На крыльцо с зажженным фонарем вышел адъютант. Он увидел конного вестового с дворцовым вензелем на чепраке. Побежал будить Миниха.

Христофор Антонович надломил сургучные печати на поданном ему пакете. Дрожащими руками закрыл лицо.

Умер Петр Великий.

Миних велел седлать коня. Безжалостно вонзая шпоры в его бока, помчался в Петербург. В пути на стане сменил запаленную лошадь. Рассвет застал его в столице.

Разросшийся город на невских берегах еще таился в темноте. Только в царском дворце освещены все окна...

Наступивший день оправдал самые дурные предчувствия Миниха. Меншиков вывел на плац гвардейские полки, Семеновский и Преображенский, и они прокричали «ура» императрице Екатерине.

Христофор Антонович был достаточно прозорлив, чтобы уловить потаенную суть происшедшего. Родовитому боярству, Долгоруким, Голицыным, отныне грозит опала. Они лелеяли мысль о Петре Втором, царе-отроке, при котором могли бы сами править Россией.

Всё решило молодое дворянство, собранное в гвардию. Самые непримиримые из них тут же на плацу пообещали «разбить головы» несогласным.

На престоле государыня Екатерина Первая. Это означало, что к власти пришел светлейший князь Александр Данилович Меншиков.

Неумно было мозолить глаза светлейшему. Миних вернулся на Ладогу.

Тогда канальные работы приближались вплотную к Дубно. Спустя несколько месяцев землекопы повели русло от Дубно к селу Черному.

Миних чутко прислушивался к тому, что происходило в Питере. Ждал удара. Но до поры до времени Меншикову было не до канальных дел. Он прибирал к рукам важнейшие посты в государстве.

Петровский сенат вместо «правительствующего» получил почетное звание «высокого», что обрекало его на полную бездеятельность. Все постановлялось в Верховном Тайном совете, где никто не смел перечить князю.

Лишь к осени Данилыч получил возможность заняться Большим каналом. Как президент Военной коллегии Меншиков в сентябре приказал всем войскам, занятым строительством на Ладоге, без промедления идти на зимние квартиры.

Несчастный Христофор Антонович снова поскакал в Петербург. Он умолял Екатерину об аудиенции втайне от светлейшего.

Аудиенция была назначена в шесть часов утра. Миних, сбиваясь от волнения, докладывал императрице о том, что сделано ныне на канале по велению ее покойного супруга. Земля поднята и начато строительство бейшлотов, почти на всем расстоянии до Черного. Отвод войск означал бедствен-

ное замедление работ. Если не выполнить их, приостановить, то будущей весной полая вода зальет незаконченное ложе — и все труды пойдут прахом.

Императрица не выспалась. Она зевала. Пусть генерал не тревожится. Будет назначена комиссия для исследования всех обстоятельств.

Комиссия в самом деле была создана. Ее возглавил Меншиков. Здесь, едва ли не впервые за эти месяцы, Александр Данилович столкнулся с несогласием. Один из бывших сенаторов сказал:

— Нас надо побить камнями, если мы не поможем закончить работы на канале.

Решили оставить на Ладоге войска до ноября. Но теперь Миних не верил никаким обещаниям. Он заставлял людей работать день и ночь. Больным, харкающим кровью, горящим в лихорадке приказывал брать в руки лопату. Сам не уходил сутками с берегов, обозначенных кострами. Зарос бородой. Потерял свой обычный лоск.

Уже в октябре на канал приехал штабной офицер из Петербурга с приказом войскам тотчас покинуть Ладогу. Приказ был выполнен.

В Верховном Тайном совете возвратившегося офицера спросили, что осталось доделать на дистанции у села Черного. Он простодушно ответил:

— Там все, слава богу, окончено.

Разъяренный Меншиков рявкнул:

— Вон отсюда, дурак.

На канале осталась только тысяча солдат для караула. Отныне прокладка русла всей своей тяжестью легла на плечи бурлаков, работных.

К смерти царя Петра канальные работные отнеслись просто — в крестьянстве завершение человеческой жизни вообще принималось как нельзя более буднично. И совершенно не обсуждалось, и споров не вызывало, кто теперь будет править державой. Одни равнодушно говорили: «Не нашего ума дело», другие — еще спокойнее: «Свято место пусто не бывает».

Где-то там, в Питере, в дворцах, коварно и беспощадно враждовали вельможи. Кому властвовать? Наследникам императора Петра или наследникам его брата, давно уже умершего царя Ивана? Кому стоять у кормила — Долгоруким

или худородному Меншикову? Для многих придворных это было вопросом жизни и смерти.

А крепостному мужику не все ли равно, кто станет с него шкуру драть. Любой, кто сменит Петра, для крестьянина будет всенепременно шкуродером. К старым податям прибавятся новые, только и всего. Не бывает иначе.

Но вот когда по присланным из Питера листам присягали Екатерине, многих взяло «сумление». Женщина на троне, да еще не русская по рождению. Это как же? Седобородые крутили головами: «Прочности нету. Не было бы какой смуты».

Однако присягали «матушке-императрице». Мужики привыкли как-то издали и свысока смотреть на дворцовые смены-перемены. Хотя нередко из столицы и доносились кровавые вести. Суровые и мудрые, много повидавшие старики рассуждали так: «В Питере бесятся. Баловство. Нам недосуг. Земля плохо родит, работать надо».

Между тем на ладожской канаве, удлинявшейся с каждым месяцем, произошли события, при которых было просто не до разговоров. Близость весны дала себя знать страшно и нежданно.

В зимнее время озеро, закованное в лед, спокойно. Но уже в марте оно начинает ворочаться.

Однажды, перед утром, подул ураганный ветер из-за Воронова мыса. На середине озера, даже в самое морозное время редко замерзающей, развело огромные волны. Они начали крушить рыхлый лед. Белые поля пришли в движение, начали тороситься. Дуло, как из трубы. Ледяной вал безостановочно двигался к берегу.

В поселке Сумском землекопов подняли набатом. Колокол устрашающе голосил, звал на помощь.

Работные одевались на ходу, подпоясывались кто сыромятным ремешком, кто обрывком веревки. Бежали к руслу. Ветер выл. Лед звенел. В первые минуты ничего нельзя было разглядеть. Но затем приобыкшие к полутьме глаза, различили белые громадины, которые свирепо наползали на дамбу. Бушевала и вода в канале, пробившаяся поверх льда.

Опустели все землянки, все шалаши. Работные сгрудились на берегу канала. Людей было множество. Даже за ревом урагана слышалось, как они дышат, глубоко и тревожно.

Капитан Людвиг бегал вдоль бровки, хватал за полы, за руки землекопов, плотников, водоливов. Он кричал угрожающе, потом просительно:

— Мужички, родимые, выручите, помогите!

Толпа работных молчала. Кто-то выкрикнул:

— Вишь ты, в одночасье родимыми стали.

Другой добавил:

— Кому жить не хочется? Сам полезай в воду!

Вдруг раздался долгий, необыкновенно громкий треск. В толпе ахнули. Оглушительный скрежет слышался со стороны насыпной дамбы, отделявшей в этом месте канал от озера. Прорвет дамбу и захлестнет, разутюжит русло, сметет водоспуски, шлюзы — все, что тысячи рук создавали месяцами.

Сознание опасности охватило людей мгновенно. Егор Шеметов проревел:

— Лопаты, тачки — сюда! Тащи камни! Остри бревна!

И первый шагнул в воду. Он даже не оглянулся, чтобы посмотреть, идет ли кто-нибудь за ним. Сотня землекопов уже работала рядом.

Людвига оттеснили в сторону. Никто не ждал никаких команд. Тем, кто складывал, поднимал, создавал по песчинке, по камешку эту дамбу, было ясно, что надо делать.

Мчались груженные щебнем тачки, толстые сосновые бревна на плечах подтаскивали к каналу. Дамбу досыпали со стороны ложа, крепили бревнами. С пригорка катили вниз валуны, ими отяжеляли ряжи.

Егору стало жарко в ледяной воде. Он сорвал с себя намокший зипун. От берега оттолкнули огромную дубовую бабу. Четыре пары рук схватили ее, взметнули над маковками коротких свай. Маковки мочалились, отлетала щепа, сваи уходили в тело дамбы.

— Взяли! Р-раз! Взяли! Р-раз! — кричал сорванным голосом Шеметов.

Над озером, багрово озарив тучи, поднялось еще не греющее, северное солнце. Оно осветило длинный ледяной вал, взбежавший на дамбу, как на взгорье. Местами льдины перевалились через гребень и отсвечивали зелеными сколотыми боками. Дамба устояла.

Но люди приглядывались и не всегда узнавали друг друга. Эти часы страшного напряжения как-то изменили их.

У Егора Шеметова ввалились щеки. На плече кровянилась разорванная рубаха. Он отплевывал воду — нахлебался ею вдоволь.

Двое пареньков скалили зубы у большого, вывороченного из земли валуна.

— Дяденька Егор, — окликнул один из них, — подь сюда.

Шеметов содрал с себя остатки рубахи и вытирал ею лицо.

— Ты взгляни, какой мы камнище приволокли, — сказал ему второй парень.

— Врете, ребята, — не поверил Егор, — это работа на четверых.

— Да мы сами не поймем как, только приволокли, — опять вступил в разговор первый, — а сейчас верно, чуть не надселись, с места его не сдвинуть.

— Врете, врете, — рассерженный похвальбой, проворчал Шеметов.

— Ей-богу, правда, дяденька Егор, вот те крест, — наперебой затараторили пареньки...

В тот день повсюду в Сумском топились бани. Землекопы и плотники, отработавшие свое в студеной воде, теперь вовсю парились.

К ним присоединились и те, кто артелью полную неделю валили лес на Волхове и нынче после полудня вернулись в Сумское. С ними были Захар и ездивший за коногона горбатый Акимушка.

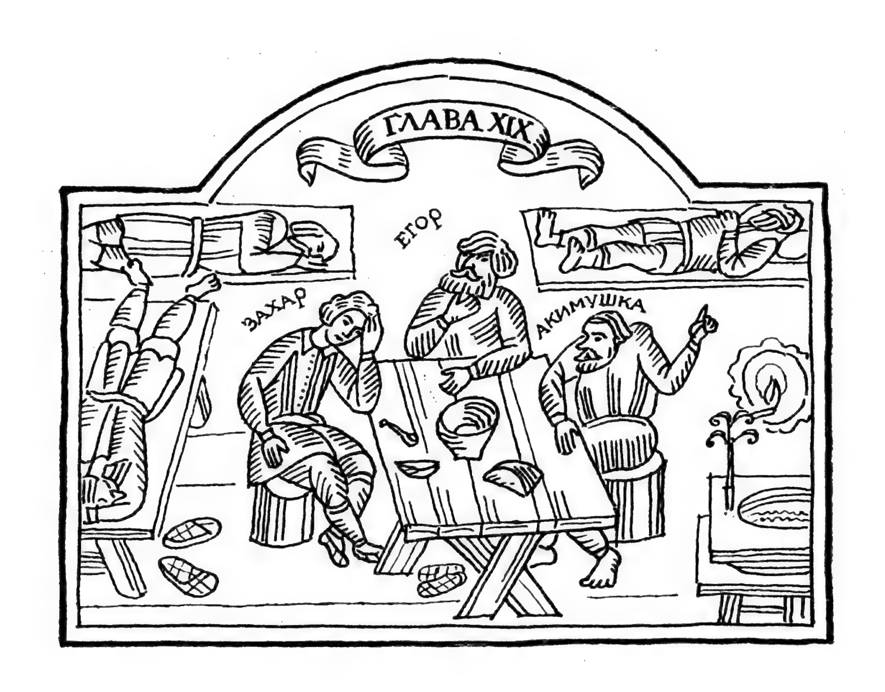
Они снова и снова заставляли Шеметова рассказывать о случившемся на дамбе. Егору надоело это, он сунул им в руки по березовому венику и попросил:

— А ну, поддайте духу.

Егор повернулся, заскрипел поло́к.

В бане весело перекликались, шутили, хохотали.

Шипела и пузырилась вода на раскаленном каменье. Из распахнутых дверей валил пар. Соломенные крыши на холоде дымились.



О ТОМ, КАК ЗАВИВАЮТ ГОРЕ ВЕРЕВОЧКОЙ

Бабка Степанида Федоровна уехала домой, в Леднево. Захар затосковал. По ночам ему виделась Дарёнка, ее легкие руки, испуганные очи.

В Ледневе, в дни сговора, Захар никогда особенно не задумывался о своей любви. Все представлялось ему очень понятным, по-житейски простым. Так уж повелось, что молодые женятся, — закон извечный. Дарья — девица славная, приглядистая, работящая, ему под пару. Жизнь с нею в радость будет.

Любовь ли это? Да и вообще, что за штука — любовь? Немногие из односельчан, Захаровых сверстников, ломали голову над таким вопросом. Пришла пора, и все тут.

Но сейчас, когда уход Дарёнушки в скит тяжким несчастьем обрушился на Смирного, когда так страшно, так несправедливо отняли у него невесту, он знал в точности, что это —

любовь, мучительная, горькая, радостная, без нее и жизнь не мила.

Ходит человек по земле, дышит всей грудью. Замечает он воздух, который наполняет легкие, думает о нем? Но лишите человека воздуха, и он задохнется... Захару казалось, он задыхается в одиночестве. Как ему жить без ледневской подружки? Одна она во всем мире. Одна.

До встречи в Кивгоде еще была надежда, что все минует, одумается Дарёнка, вернется. Теперь надеяться было не на что.

Приятели — Шеметов и Акимушка — видели, что с Захаром творится неладное. Почернел лицом, осунулся. Но расспрашивать не решались. Чего бы там ни стряслось, Захарка сам справится.

А ему становилось вовсе невмоготу. Дошло до того, что утрами, на рассвете его будил Дарёнушкин голос, в чем-то укорял, о чем-то молил. Захар в жизни ничего не боялся, теперь страшился один оставаться в землянке.

— Ребята, — однажды попросил он друзей, — чего вы ютитесь бог весть где, в тесноте, на толчке. Перебирайтесь в мою землянку. Я же один-одинешенек.

Слова эти были сказаны так горестно, что Акимушка посмотрел на говорившего и подумал: «Не присуха ли какая?»

Аким с Егором бобыли — дело понятное. Один урод, другого судьба поломала. Захар — по всей стати молодец, силушка через край бьет. Он-то почему одинокий?.. Но и на этот раз спрашивать ни о чем не стали.

Погодя немного, Смирной сам все рассказал. В вечернюю пору сумерничали за столом, на котором лежала начатая краюха хлеба и дымился кипяток в котелке. Захар говорил о несчастливой своей невесте, о коварстве Ивана Круглого, о недальней раскольничьей пустыньке.

Шеметов грохнул кулаком о стол:

— Чего ты раздумываешь? Едем в эту Кивгоду. Отобьем твою раскрасавицу, схватим, умчим. Сейчас едем!

Аким грустно смотрел разными своими глазами, Егоровых слов будто не слышал. Потом тихонько проговорил:

— Экое горе, сама ушла, своей волей черным платом накрылась... Забудь ты ее, Захар, право, забудь...

Ласково тронул Акимушка плечо пригорюнившегося товарища.

В тот вечер о Дарёнке не было сказано больше ни слова.

Казалось, мудрый совет горбуна принят Захаром накрепко. Друзья поверили — он одолеет беду.

Раненько утром ушли на канаву. Каждый нес свою лопату. Настоящий землекоп не любит менять инструмент, никогда не оставит его в общей куче, сам насадит, сам наточит. Чтобы был остер, ухватист, привычен.

В эту пору землеройная армия сквозь болота и перелески, глину и пески пробивалась к Кобоне. А на сорока с лишним верстах от Волхова до Черного по готовому каналу пошли суда. Пока — только баржи с пилеными досками, с плитой и камнем для отмостки. Но зрелище невиданное. Из ближних сел приезжали взглянуть, как двухмачтовики плыли сбоку бурного озера, по тихой воде.

Все надобное для работ было припасено еще до таяния снегов, прежде чем распустились болота. Пригрело солнышко — и врезались лопаты в землю, запыхтели машины-качалки, зарокотала взмученная вода в желобах.

Дружная весна обещала жаркое лето, нечастое в межозерье. Нельзя было упустить ни одного погожего дня. На новых линиях за Черным летела вскинутая земля, брали ее с откосов, с будущего ложа, а если пробивались обильные ключи, то — из подводных слоев.

Вдоль будущего русла прокладывали и ровняли бечевник. В Кобоне начали ставить плотину. Тут поднимутся шлюзовые ворота. Для обширного фундамента подтаскивали плиты.

Более ста пятидесяти тысяч кубических сажен земли надо поднять лопатами в летние месяцы.

Ни в какие рассуждения с землекопами Миних не входил. Это дело майора Людвига — за усердие он успел получить новый чин. Под майорской рукой — не одна сотня приказчиков, десятников, надсмотрщиков.

У Людвига же разговор самый простой. Когда старший подрядчик вздумал посетовать на то, что многие работные не могут одолеть дневной урок, майор привел подрядчика к водоливному кругу. По кругу в лямке ходила низкорослая, вся в репьях кляча. У нее сквозь кожу проступали ребра. Лошаденка еле двигалась, даже не отмахивалась хвостом от оводов.

Людвиг взял бич у коногона и принялся хлестать клячу. Она ошарашенно взбрыкнула всеми четырьмя ногами и побежала из последних сил.

Майор хохотнул, расправил свои рыжие усы и сказал подрядчику:

— Видел? Понимай свое дело.

Невеликую мудрость примера постигнуть было легко. Надо правду сказать, канальная «расправа» дело знала.

Работала на канаве разудалая голытьба. Больше половины — беспаспортных, «слепых». (В просторечии отпускной паспорт именовался «глазами».) Этим людям пойти жаловаться некуда. О первоначальных обещаниях «вольной работы» как-то позабылось. Зато в ходу была поговорка: «Нанялся — продался».

Механик Резанов видел, как тяжко живется и работается, в особенности землекопам. Разговор Людвига с подрядчиком на водоливном круге механик слышал, — тогда он здесь же налаживал новый насос. Слышал и ни слова не произнес в ответ. Хотя понимал, что сравнение куда как несправедливо. Лошадям все-таки время от времени дают передышку...

Что тут скажешь? Резанов и сам валил на плечи работных двойной урок и строго требовал, чтобы все было сделано. Правда, он не терпел зуботычин, обычных в обращении с канальными людьми. Он вместе с ними до ночи не покидал русла. И сам уставал так, что не мог добраться до подворья, засыпал где-нибудь в землянке.

Оправдание ли это? Впрочем, само слово «оправдание» не приходило Гавриилу Андреевичу в голову. Так уж повелось: дешевле мужицкой силы нет ничего на Руси.

Единственно, чему удивлялся — безунывности этих оборванных, полуголодных парней. Вернутся с канавы, — кажется, впору лечь пластом на нары. Но нет, они печку разожгут, развесят онучи и сырую робу, через минуту в землянке под потолком пар клубится. Молодцы посмеиваются, затевают возню, а то еще и подерутся. Одно слово — голытьба.

Резановскую команду — так на канале называли землекопов, кондукторских учеников — знали повсюду, от Волхова до Невы. Относились к команде уважительно. Сильных и мозговитых как не уважать? Впрочем, некоторые, не скрывая злобности, поговаривали:

— В десятские лезут. На наш хребет взобраться норовят. Грамотеи выискались.

Будущие кондукторы как следует учились только в зимние месяцы. Летом не разлучались с топором и лопатой.

Создавший эту школу инженер-поручик Абрам Петров на

строительство канала приезжал часто. Если не заставал Резанова в подворье, ехал прямо к Захарову жилью. Здесь всегда скажут, где найти механика.

За успехами своих учеников черный инженер следил ревниво. С Гавриилом Андреевичем ругался:

— Дай ты людям время, пусть в расчетах да картах поднатореют.

— Видишь, что у нас тут делается, — безнадежно отговаривался механик.

— Толковые у тебя парни, — сожалительно произносил Петров, — в Кронштадте мои школяры на что уж горазды, а твои канальные вровень идут.

Приездов инженер-поручика в резановской команде ждали и побаивались. Он всегда проверял, чему научились. Находя пробелы, а то и незнание, гневно сверкал глазами, упрекал в лености. Хотя и сам понимал — какая уж тут леность...

Егора Шеметова он было отрешил от кондукторской школы, за полной неграмотностью. Но Егор так растерянно развел руками: «Как же я без Захарки, без Акимушки», — что не пожалеть его было нельзя. Тем более, приятели во второй уже раз обещались его «поднатаскать», и сам он решительно заявил:

— Стараться буду во как!

Но из всех стараний получалось не так уж много. Верно, Егор научился считать довольно бойко. Тяжелую астролябию он таскал для всей команды и справлялся с нею не хуже других.

Грамота же ему не давалась. Он все не мог согласиться с непостижимым таинством, будто черточки, значки на бумаге могут выражать человеческие слова и мысли.

— На листочке словно ворона лапами наследила, а ты хочешь, чтобы я понял, что тебе подумалось, — с искренним удивлением говорил он Смирному, который больше всех возился с ним.

Резанов самолично выгонял Шеметова с занятий. Но он не обижался и все равно приходил. Ни механик, ни «арап» не могли сладить с упрямцем. Он приходил и слушал; от усилия понять двигались морщины на его лбу. Тяжелые темные руки лежали на коленях...

С неодинаковым успехом, урывками парни из резановской команды учились и математике, и измерению углов, градусов, способам делать нивелацию, производить самую простую

глазомерную съемку местности. Для занятий собирались на ладожском подворье.

Но, может быть, всего важнее было для них другое. То, что инженер-поручик и механик разговаривали с ними по-людски. Не понукали, не орали, не хватали за шиворот, не грозились кулаками.

Петров, со всей его горячностью, нетерпеливостью, суровой требовательностью, полюбился землекопам. Если он долго не приезжал, спрашивали у Гавриила Андреевича, не приключилось ли чего в Питере. Когда же он появлялся на канале, сразу замечали его настроение, гадали, будет ли придираться, ворчать, сердиться.

В последнее время черный инженер приезжал мрачней осенней тучи. Он уходил к Миниху, долго разговаривал с ним с глазу на глаз, никто не знал о чем.

В беседах со своими учениками «арап» временами становился рассеян, резок. Он знал способности будущих кондукторов. С одними занимался часами. На других и времени не тратил.

Смирного заметно отличал. Их разговоры были долгими И не только об инженерных премудростях. Впервые в жизни Захар повстречал человека ученого, повидавшего свет. Кто как не он может объяснить все непонятное, то, что мучает, не дает покоя.

Началось с того, что посреди занятий — Петров проверял карту Кобонского участка, снятую Захаром — учитель вдруг спросил ученика:

— Ты почему в таком рванье ходишь? Почище бы одевался.

— Да у меня нет ничего больше, все богатство на плечах, — ответил Смирной.

Наверно, замечание рассердило Захара, а скорее всего, нужен был лишь толчок, чтобы выплеснулось все, затаенно клокотавшее, и такой толчок был дан. Молодой землекоп вдруг выпалил:

— Тряпье ношу — не велика беда. А вот беда — почто нас, канальных работных, за людей не считают.

— Ты чего это? — озадаченно поднял голову инженер-поручик.

Захар стоял бледный, кулаки его сжимались. Он уже не мог остановиться. Он спешил — ему казалось: не скажет всего, слова задушат, огнем сожгут.

— Я в скиту жил. Там раскольничьи молельщики разве что в телегу не запрягали несчастных трудников... И тут, на вольной работе, одна неправда. За малую провинность — батоги. Кормят нас впроголодь, гнильем. На канаве дотемна держат, разогнуться не велят... — Землекоп глубоко вздохнул, договорил вдруг сорвавшимся голосом: — А вы, господин инженер, на мне залатанный зипунишко приметили...

В черных, горячих глазах Петрова удивление сменилось сожалением, болью.

— Нашел время о справедливости толковать, — произнес негромко, но внятно. — Ты мне вот что скажи: в каком масштабе у тебя шлюз нарисован?..

Смирной жалел уже, что не сдержался. Наговорил инженер-поручику много лишнего. Он смотрел на карту в его руках, а думал совсем о другом: «Видать, нам самим о себе подумать надобно. Ну, да об этом — потом, погодя».

Тогда молодой землекоп даже не представлял себе, как скоро ему придется вернуться к этой мысли.



О НАЧАЛЕ РАБОТНОГО БУНТА

Не было больше железной руки Петра над Россией. Только в первые месяцы в столице клялись и божились его именем. Постепенно забывалось, приходило в великое небрежение все начатое суровым государем. Богатое дворянство потянулось из гнилого, болотного Петербурга в московское раздолье.

Для могущества России, для величия, для военной непобедимости державы Петр не щадил никого, и себя — прежде других. Теперь из нор повылезало несметное множество алчных мздоимцев, титулованных плутов. Чем родовитей и чиновней, чем ближе ко двору, тем ненасытней. Для них превыше всего — нажива, золото в своем сундуке. За этот сундук, за власть с беспощадной жестокостью грызлись знатнейшие вельможи. Когда же им было думать о России?..

Работы на Ладожском канале были, пожалуй, одним из немногих петровских начал, которые не удалось остановить.

Тысячам канавских землекопов, плотников, углежогов жилось так же тяжко, как всему простому народу в стране немеряных верст. Только одно необыкновенное, удивительное входило здесь в жизнь работных людей. Они начинали понимать, что их много и что не стоит давать себя в обиду.

В канальную «расправу» присылали из Питера цидульки на казенной, негнущейся бумаге с решениями, сентенциями и предупреждениями Верховного Тайного совета.

В них говорилось о том, что в разных городах, уездах и деревнях «являлись многие злодеи в непристойных и противных словах». Посему в Преображенской канцелярии учинен был строгий розыск. Виновные объясняли, будто произносили те слова спроста и спьяна. За то приговорены к смертной казни.

По одним решениям наказывались за «шумство» и «зловредные слова», по другим — всякие побродяжки, беглые, «изумленные», то есть тронутые в разуме, посылались на каторгу.

Канальные управители листали указы и приглядывались— нет ли на канаве подобных «злодеев» и не надо ли без промедления усилить строгости? Вскоре и приглядываться не понадобилось — за полной явностью. И это уже было не «шумство», а такое, что кое-кто из надсмотрщиков в страхе бежал в Петербург.

Началось все с события, казалось бы, обиходного.

Акимушка-чертопруд, при своей болезненности, редко справлялся с земляным уроком. Особенно, если поблизости не было Захара или Егора, всегда готовых помочь. Как раз при таких обстоятельствах и случилась беда.

Майор Людвиг увидел нескорую Акимушкину работу и разгневался:

— Так хлебают ложкой щи, — заорал он, наливаясь злой краснотой, — у тебя не ложка, а лопата в руках. Работай!

Руки у Акимушки дрожали, он никак не мог как следует всадить лопату в грунт. Майор уже не орал, а яростно взвизгивал:

— Проклятая свинья! Я покажу тебе, как лениться!

Лопата валилась из рук Акимушки. Да и взмахнул он ею неловко, земля посыпалась на великолепно начищенные майорские сапоги.

У Людвига кровь отхлынула от лица. Задохнувшись, он произнес отрывисто, словно пролаял:

— Ты. Меня. Лопатой... Завтра пойдешь под батоги. На плацу! Под барабанный бой!..

Давно уже и господин майор ушел, протопав своими, несколько потускневшими сапогами. Акимушка на дне ямы все не мог разогнуться, кашлял, прижимая руки к груди. Он плевал кровью, лицо его было мокро от бессильных слез.

Таким и застали его Егор и Захар, уходившие за подпорами для откосов. Друзья подняли по-мальчишески легонького горбуна, положили на траву.

Прошло немало времени, прежде чем он отдышался и сумел прошептать окровавленными губами:

— Завтра меня погонят батогами... сквозь строй...

Медленно, то и дело вытирая мокрое, как-то сразу осунувшееся лицо, Акимушка рассказал обо всем, что случилось.

Захар смотрел прямо перед собой расширенными глазами. Ему показалось, будто издали донесся стук барабанов. Он видел, как вспухает под шпицрутенами тело солдата — богатыря Василия Иванова, слышал, как он стонет, обеспамятев, и вот уже падает на подломившиеся колени...

Горбун такого не перенесет. Его убьют первым ударом!

Нельзя было терять ни часа времени. Людвиг никогда не оставлял свои угрозы невыполненными.

Шеметов в негодовании скрежетал зубами.

— Беги на конный двор, — крикнул ему Захар, — приведи лошадей, выпроси, укради, только чтоб были они здесь!.. А я пока отведу беднягу в землянку.

Прошло не больше получаса. Смирной и Шеметов мчались, нахлестывая коней, — один к голове канала, к Новой Ладоге, другой — к Кобоне.

Они с седла кричали артелям:

— Бросай работу!

Немногословно рассказывали о зверстве Людвига, обо всем происшедшем и спешили дальше.

К вечеру канавские уже шумели повсюду. Гнали прочь смотрителей, требовали Людвига к ответу.

На канаве хорошо знали Акимушку-чертопруда. Уважали за грамотность и толковость. Но дело тут было не только в нем. Просто так схлестнулись события, что его великая обида, как говорится, переполнила чашу долготерпения и послужила началом бунту работных.

Почти на всей линии землекопы повтыкали в грунт лопаты. Плотники всадили в бревна топоры, иные со зла — по самый обушок, водоливы застопорили насосы.

Самая большая сходка собралась в Дубно, у водоспуска.

Пожилой пильщик забрался на шлюзовые ворота и гулким рокочущим голосом выкладывал бесчисленные канавские нелады:

— Мы Людвигу не крепки! Доколе ему измываться над нами?

Толпа поддержала пильщика дружным гулом.

— Опять же — платят нам гроши, — продолжал он, — не прокормиться. С голодухи пухнем.

Ловко вскочил на ворота низенький, верткий парень, судя по закопченным рукам — углежог. Он уселся верхом на створе, собираясь, как видно, толковать долго и обстоятельно.

— Я скажу про наших подрядчиков, — начал он с въедливой рассудительностью, — они у нас баре-бояре. Из-под их руки работаем. Они же, окаянные, и кормильцы наши. Лавки-то все — подрядчиковы. А что в тех лавках? Гнилая солонина да тухлое просо. Так говорю?

— Так! — подтвердили из толпы. — Валяй дальше!

— А дальше и говорить нечего, — ухмыльнулся углежог,— кормильцы у нас добренькие. Денег нет? Бери в долг. Товар с гнилью, а хомут на шею надевают тугой. Кабала почище барщины!

Долго еще шумела сходка. Кто говорил, что надо немедля идти к Христофору Антонычу. Другие твердили, что генерал ни за что не выдаст Людвига. Нужно посылать челобитчиков в Питер.

На этом все сошлись. Здесь же, у шлюза, нарядили ходоков. Решили, что в столицу отправится углежог и с ним — двое почтенных старейшин. Они прошли по кругу с вывернутыми шапками. Полетели в них медные гроши.

Напутствовали ходоков коротко:

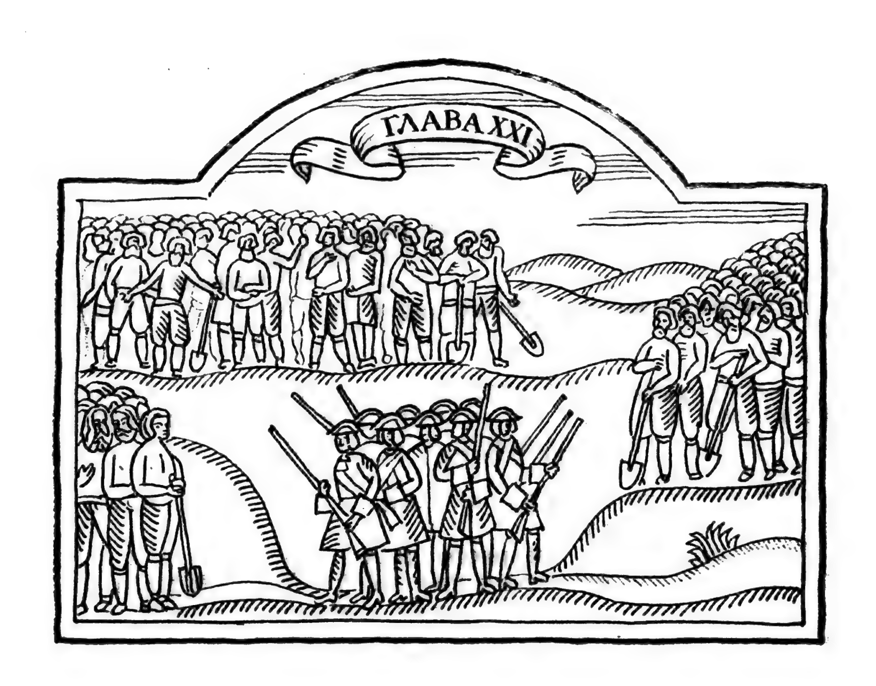
— Валяйте прямиком к государскому дворцу. Скажите всю правду-матушку.

Старики обнадежили:

— Тамо разберутся.

Углежог поклонился низехонько:

— Для мира послужить можно.



О ПРОДОЛЖЕНИИ РАБОТНОГО БУНТА

В первые часы мятежа Миних растерялся. Но только в первые часы. Он всегда имел дело с покорными солдатами, с безропотными крепостными мужиками. А тут бессловесные подняли бунт, смеют чего-то требовать!

Не напрасно Христофор Антонович был человеком военным. К бунтующим канавским он не пошел. Людвига отослал на время с глаз долой. Вызвал полицейский батальон. А сам той порой через десятников постарался разузнать, кто зачинщики.

Сделать это было нетрудно. Зачинщики не таились. Оказалось, что разожгли мятеж лучшие мастера на канале — землекопы резановской команды.

В канальной управе немедленно произошел гневный разговор с механиком. Генерал говорил по-немецки, не желая, чтобы служители поняли сущность спора. Резанов, знавший

немецкий язык слабо, отвечал сумбурной немецко-французской смесью.

Миних:

— Вот видите, оказывается, Людвиг был прав: незачем учить мужиков. Теперь мы убедились, к чему это ведет.

Резанов:

— Господин генерал, Людвиг тысячу раз неправ и в этом случае, и во всем остальном. Он обращается с людьми, как с рабочим скотом. Он не офицер, а свирепый погонщик. Именно это, а не наука, как вы изволили сказать, вызвало возмущение работных на канале.

Миних:

— Ваши землекопы больше всех мутят воду... Идите к ним, к этим преступникам, уговорите их выйти на работу... Мы не можем терять время, нам дорог каждый летний день.

Резанов:

— Я выполню ваше приказание, господин генерал. Но не могу ни за что ручаться...

Землянка Захара Смирного стала в эти дни для всего строительства как бы «станичной избой». Здесь Захар и Егор под иконой побожились до конца держаться вместе. Сюда приходили вести со всех линий канала: где работные поднялись дружно, а где убоялись угроз и пущей голодухи.

На ходоков надежды не оставалось. На первой питерской заставе, у села Смоленского, они сказали, что идут с челобитной, и их пропустили. На второй, у моста, отправили прямиком на съезжий двор и там крепко вздули. Углежогу, как самому разговорчивому, досталось больше других. Били и приговаривали:

— Не жалуйся на господина своего.

Осердясь за обиду, нанесенную ходокам, работные в Низове разнесли по бревнышкам лавку. Приказчики бежали, оставив выручку.

Деньгами никто не покорыстовался. Ларь приволокли в «станичную избу». И здесь два друга впервые поспорили. Шеметов сказал, что деньги эти «наши кровные», на них купить бы хлеба и сластей ребятишкам. Захар воспротивился:

— Сдадим ларь в управу. Пусть знают, мы не на разбойное дело идем...

Как раз во время этого спора в «станичную избу» пришел Резанов. Появление его было неожиданным. Все притихли. Механик сказал:

— Мне велено просить вас... Недоброе вы затеяли. Нельзя останавливать канальное дело. Выйдите на работу.

За всех ответил механику Захар Смирной:

— Спасибо, Гавриил Андреевич, что в такой день вы пришли к нам, не погнушались... Но рассудите сами, можем ли мы сейчас снова взяться за лопаты? Тогда все пойдет по-прежнему. Уж лучше не жить на белом свете.

— Вы хоть себя пожалейте, — Резанов упрашивал, и не стыдился того, что так разговаривает с людьми, которым привык приказывать, — вы идете против силы. На канал уже выехали полицейские солдаты.

О полицейских в «станичной избе» знали. Егор Шеметов сказал мрачно и решительно:

— Будь что будет. А правда наша!

Ждать пришлось недолго. Дня через два в землянку Захара нагрянули солдаты. Смирного выволокли наружу. Но вокруг «станичной избы» творилось такое, что усмирители попятились. Несколько сот землекопов стояли, опираясь на лопаты. Стояли спокойно, однако таким плотным кольцом, что сквозь него и мышь не прошмыгнет.

Один из стариков, тех, кого побили на питерской заставе, вышел вперед, поклонился низехонько поручику и спросил:

— Захарку-то зачем взяли?

— Для дознания, — грозно ответил поручик.

— Понятное дело. Мне это дознание уж вот где прописали. — Сивобородый потыкал пальцем в свое распухшее ухо, в синяки на обеих скулах и продолжал тем же спокойным стариковским голосом: — Ежели сечь, то нас всех секите...

С этими словами старик покряхтел, поохал и начал расстегивать у ворота свою изодранную рубаху. Повернулся к толпе:

— Разоблакайтесь, ребятушки.

Землекопы безропотно поснимали свои лохмотья. Иные посмеивались при этом. Никто не выпустил из рук лопат. Что-то не похоже было, что эти молодцы готовятся к экзекуции.

Так до вечера простояли в кругу поручик и его помощники. Только увидев, что Захар возвратился в землянку, работные разошлись.

При всей генеральской запальчивости Миних настоял на том, чтобы усмирение велось без лишнего шума. Для него всего важнее было не само наказание непокорных. Надо было во что бы то ни стало заставить их работать.

По его указке все делалось тихонечко, дотошливо, умненько.

Смотрители, десятские вместе с солдатами — без них никто не решался сунуться к бунтовщикам — обошли всю линию. Никакого скопления не допускали. От каждой семьи и от всех бессемейных потребовали подписку о послушании.

Вскоре Христофор Антонович получил письменное «объявление» от работных, под которым стояло много корявых подписей, а всего больше — крестов и оттисков пальца, за неграмотностью.

Адресовано оно было «нашему милостивому господину». Канальные объявляли, что оный Людвиг чинил им великие непорядки и несносные обиды. А прибывший поручик с солдатами принуждал работных к подписке о покорности — «а к чему писатца мы о том неизвестны». Тех же, кто подписываться отказывался, поручик выгонял из дома и отбирал пожитки...

Генерал подосадовал на ретивого офицера, но упрекать его ни в чем не стал. Пообещал позже поодиночке переловить и передать ему на суд и расправу всех главных бунтарей.

Так и было сделано. С немалым, однако, изъятием.

Пятьсот работных в одну ночь покинули строительство, не желая мириться с несправедливостью, и в их числе — почти все зачинщики сходок. Егора Шеметова оставили в покое «за несмышленностью». Захара Смирного ждали суд и, по всей видимости, каторга.

В доношении Верховному Тайному совету Миних сообщал, что «от двух до трех тысяч рабочих инструментов однем разом низ положили и хотели высокую установить цену».

И дальше:

«Тако для всех оных обстоятельств потребно есть, чтобы сия важная работа при вольных людях и салдацкая помощ была употреблена».

Совершенно ясно, что «салдацкая помощ» в этом случае понадобилась отнюдь не для землеройных или плотницких работ.

Во всем этом деле Миних проявил вместе с хитростью удивительную уступчивость. Только в одном был несговорчив: кондукторскую школу велел распустить и не поминать о ней больше. Кажется, на всю жизнь он закаялся обучать мужиков «наукам».

Постепенно работы на канале вошли в прежнюю колею.

Чего же добились бунтовщики? Очень малого. И очень многого.

Майор Людвиг благополучно возвратился на свою должность. Как и раньше, подрядчики наживались на труде канавских. А работать их заставляли даже больше прежнего.

Смотрители, по давней привычке, не скупились на тумаки. Но раздавали их все же с оглядкой. О провинности Акимушки-чертопруда как-то позабыли. Больше того, по документам нет известий, чтобы в дальнейшем на канаве применялась военная кара — шпицрутенами сквозь строй [1].

Захару Смирному пришлось долго ждать решения своей участи. Несколько месяцев просидел он в дубненской каталажке. Это была просто ямина, вырытая в земле и накрытая соломой. По глинистым стенкам текла вода. Кусок хлеба ему спускали вниз на веревке.

К зиме Захара перевели в Новую Ладогу, заперли в подвальный чулан при управе. Здесь он просидел еще с месяц. Потом вдруг управский сторож вывел его на дорогу, что огибала огороды и тянулась вдоль канала.

Смирной обеими руками закрыл лицо. Солнечные лучи, отраженные снежным покровом, нестерпимо резали глаза.

— Пошел отселя, — сказал сторож, — явись к механику Резанову.

Захар не знал, сколько времени простоял так, не двигаясь. Глаза привыкали к дневному свету медленно. Недавний узник попробовал идти, ноги не слушались. Одолеть же надо было не одну версту.

Растер лицо снегом, набил им рот. Пополз. Только бы подальше от этого подвала, где возились, пищали, не боясь человека, толстые, рыжие крысы.

Отдышался, встал на ноги. Двинулся от дерева к дереву. На рассвете добрался до своей землянки. Егор в оборванном бродяге не узнал друга, спросил:

— Кто такой?

Аким уже возился у камелька, кричал Егору:

— Неси воду. Ставь на огонь!

Много времени миновало, прежде чем Захар снова стал похож на себя. Прошло еще несколько дней, и он стороною

---

[1] Бунт на строительстве Ладожского канала примечателен тем, что это одна из первых массовых, многотысячных, рабочих забастовок в истории Петербурга.

сведал, по какой причине его неожиданно освободили и вернули на канаву.

Поболее недели назад в резановское подворье приехал инженер-поручик Петров. Он кинул поводья коня подоспевшему работнику и, ни на кого не глядя, вбежал в горницу.

Гавриил Андреевич сразу почувствовал — случилось несчастье. Встревоженно спросил:

— Что с тобою?

Черный инженер кинул на стол свернутый в трубку лист бумаги.

— Читай!

Резанов увидел под последней строкой подпись светлейшего князя Александра Меншикова и понял, что хорошего ждать нечего.

Это был указ Абраму Петрову тотчас ехать в Казань: «осмотреть тамошнюю крепость, каким образом починить ее или вновь сделать цитадель, тому учинить план в проекте...»

«Арап» сбросил плащ и треуголку. В возбуждении не ходил — бегал по комнате, потрясал кулаками, кричал:

— Понимаешь, Гаврюша? Он боится как бы я меж математическими формулами не шепнул супротивное слово ученику своему, Петру малому... Поверь мне — сердце вещун. Это ссылка. И хорошо, если только в Казань.

В тот вечер и во всю ночь до утра горели свечи в резановском подворье. Разговор шел горячий, сбивчивый. Петров рассказывал о своих бедах. Гавриил Андреевич — о последних событиях на канале.

Черный инженер был потрясен всем случившимся, в особенности тем, что так бессмысленно разогнали кондукторскую школу.

Чужая беда смягчила боль собственной. Будущий казанский фортификатор возмущался:

— Как можно? Столько труда, и все понапрасну. А парни такие способные... Сейчас же еду к Миниху!

Христофору Антоновичу уже было известно о высылке инженер-поручика из Петербурга. Он встретил его сочувственно, принялся расспрашивать, советовать.

— Ах, я не о том, не о том, — сверкая слегка выпуклыми глазами, заговорил Петров, — зачем вы запретили обучение кондукторов? Ладожский канал — ваше детище. Вы не хотите ему добра? Нужно восстановить школу!

Миних с бесповоротной твердостью ответил отказом. Оба

замолчали. Пора прощаться. Христофору Антоновичу было бесконечно жаль этого талантливого, разумного и такого неудачливого человека. Но что он мог для него сделать?

Петров поднялся с кресла.

— Господин генерал, у всех народов есть обычай: выполнять последнюю волю идущего на казнь.

Христофор Антонович тоже встал. Он ласково взял в обе свои ладони руку черного инженера. Этот несчастливец не преувеличивал: ему предстоят испытания, сравнимые только с долгой, мучительной казнью.

— Я прошу об одном, — продолжал инженер-поручик, — лучший ученик кондукторской школы Захар Смирной сейчас у вас в заключении. Пока он здесь, всё в вашей власти. Потом будет поздно. Верните его на канал.

«Арап» простился по всей форме, держа треуголку на отлете, щелкнул каблуками.

— Разрешите откланяться.

В подворье Абрам Петров ворвался как бешеный, сорвал крючки мундира, бросился на лавку у окошка.

— К чертям! Ах, с этим миром, где все так мерзко, и распрощаться не жаль...

Успокоясь, подошел к Резанову.

— Послушай меня. Захара Смирного, по-видимому, все-таки помилуют... Держи его при себе. Парень недюжинно мастеровит. Кондуктор из него получится первейший...

Глянул в окно. Над озером, над ледяной далью летели голубые снега. За стенами человечьим голосом выла вьюга.

— Ну, давай прощаться. Поутру мне в путь.

Черный инженер был прав в своих самых тяжких предчувствиях. В Казани его ждал второй указ Меншикова — ехать в Тобольск. Строить Селенгинскую крепость.

В свой последний петербургский день крестнику великого Петра удалось сделать почти невероятное. Он отвел верную угрозу сибирской каторги от работного человека, канавского землекопа.

Но сам от Сибири не уберегся.



О НОВОЯВЛЕННОМ РОССИЙСКОМ ПОМЕЩИКЕ

Миних был по горло сыт злобой светлейшего, постоянными задержками в ассигновании денег, в присылке работных на канал и, наконец, опасным непокорством этих русских бунтовщиков.

Как азартный игрок, генерал решил бросить на стол все свои козыри. Если хотят, чтобы он продолжал канальные работы, пусть, дьявол их всех побери, раскошелятся. А то ведь можно и распроститься с Россией.

Правда, генерал при этом довольно расчетливо сообразил, что сейчас вряд ли ему сыщется замена.

Миних усердно сочиняет пространное доношение. Он пишет о работах, проведенных под его дирекцией на «сем великом и славном канале... тако подобного ему в свете не имеетца».

Вот какой канал строит генерал Миних. А теперь он просит отпустить его, чтобы привести в порядок свои заграничные

ные имения. Если государыня пожелает, он может в свое время вернуться к работам. Затем (и это главное!) назначается цена такого возвращения.

«Дабы ее императорское величество по всемилостивейшему своему учиненному обещанию за такую зело трудную, однакож щастливо правленную работу из тех при моем правлении учиненных прибыльных денег яко от вина, табаку и протчего, которые прежде сего прежним подрятчикам и при том от каждой кубической сажени земли награждение по их договору обещано, ее императорскому величеству соизволящее награждение мне пожаловано было...»

Слог витиеватый. Смысл простой. Землекопы подняли сажень земли — Миниху доход. Работные купили в лавке еду— хлебца, сальца — господину директору идет копеечка с каждого глотка. Зашли с горя либо с устали в кабак, выпили штоф хмельного — Миниху прибыль. Закурили цигарку — генералу дымок опять-таки несет выгоду.

Хороший инженер, а торгаш еще лучший.

Ответа на доношение долго не было...

Между тем многотысячная громада канальных трудилась изо дня в день, наращивала водную дорогу. Даже в зимние месяцы работали без остановки.

Весенние месяцы 1727 года были необыкновенно маловодными. Старожилы говорили: самая великая сушь почти за четверть века. Уровень озера заметно пал.

У канавских инженеров — новая забота. Как не только в нынешнем году, но и в будущие времена обезопасить проложенное русло от обмеления? Откуда взять этакую массу запасной воды?..

Гавриилу Андреевичу есть над чем подумать.

Резанов в точности исполнил наказ своего друга и парижского однокашника. Захар Смирной находился при механике неотлучно. Лучшего помощника найти невозможно. Он вел землекопные артели на самые трудные работы.

Не приятельство связывало Резанова и Смирного — для этого они были слишком разными людьми, — но работа, дело.

Захар, конечно, не позабыл сочувствия механика в дни канавского бунта. А для Гавриила Андреевича очень скоро Смирной стал просто необходим. В ту пору, как уже упоминалось, больше всего было разговоров о запасной воде. На протяжении недели Миних вместе с Резановым переворошили все имевшиеся карты межозерья. Пришли к единственному

решению: создать запасной резервуар. Без этого в засушливый год канал не сможет пропустить даже плоскодонки.

Но где должен находиться такой резервуар, и самое главное — откуда взять для него воду?

Карты были довольно старые, нарисованные от руки и очень ненадежные. Они не давали ответа на этот вопрос.

Гавриил Андреевич рассказал о трудной задаче Захару, а тот сразу заметил:

— Без нашего чертопруда в таком деле не обойтись.

На следующее утро Захар попросил механика:

— Дайте нам с Акимом пяток дней. Мы по болотам полазаем.

Оба ушли с заплечными котомками на восход. Миновала неделя. От них — никаких вестей.

Появились лишь к концу второй недели, исхудалые, оборванные и голодные, как волки.

Не помывшись с дороги, не отдохнув, позвали Резанова. Втроем забрались на леса кобонского шлюза, откуда можно было рассмотреть окрестности на много верст.

— Взгляните, Гавриил Андреевич, — сказал Акимушка, показывая своей маленькой, ребячьей рукой, — видите, тянутся друг за дружкой холмы. Они зовутся Коровьим хребтом. А в низинах — глубокие болота, топи, где берут начало несчитанные ручьи. Ежели подпереть те низины дамбой — запасной воды для канала будет вдосталь.

Акимушка пошарил по карманам, бумаги, конечно, не нашел. Схватил, лежавшую на подмостях струганую доску, взял у Резанова карандаш — показал на доске, как тянутся болота, текут ручьи. Жирной линией обозначил, где ставить плотины.

Гавриил Андреевич с удивлением смотрел на горбуна. Сказал вполголоса, обрадованно:

— Вот смышленый. Истинно — чертопруд.

Схватил доску и с нею побежал к генералу. Тот спешил в Петербург, лошади уже были впряжены в карету. Тем не менее Миних долго и очень внимательно обсуждал с механиком столь необычный чертеж.

Прошло несколько дней — и сотенные артели начали насыпать дамбу. Работы велись поблизости от Ладожского тракта, который проходил по скатам Коровьего хребта.

В поздний вечерний час Акимушка, опираясь впалой грудью о лопату, сказал Захару:

— Слышь, трезвонит?

Генеральскую четверню узнавали по малиновым поддужным колокольцам.

Действительно, из-за лесной опушки показалась знакомая всем миниховская упряжка. Кучер, почти падая на спину, лихо натянул вожжи. Лакированные дверцы кареты были забрызганы грязью. Генерал грузно ступил на откинутые форейтором ступеньки. Постучал сапогом о сапог, потянулся до хруста в костях. Крикнул землекопам:

— Дамбу начали? Молодцы. Эй, как тебя! — Пальцем в тугой лайке поманил Захара, распахнул плащ, достал горсть медяков: — Всем на водку. Пусть выпьют за мое здоровье.

Кони ударили копытами, и снова затарахтела, удаляясь, директорская карета.

Захар задумчиво посмотрел ей вслед.

— Ох, не люблю, когда управитель наш вот этак щедр и весел.

— Надо спасибо сказать, а ты суесловишь, — добродушно откликнулся Акимушка.

Между тем не мешало бы поразмыслить над генеральской веселостью...

У Миниха в кармане камзола лежал лист с сургучной печатью. Наконец-то, после неоднократных напоминаний, сегодня утром в Петербурге ему вручили ответ «по пунктам».

Канальный директор получил новое придворное звание и пять тысяч серебряных рублей в два срока. Но всего важнее вот эта резолюция: «Малой остров на Неве-реке и деревенка Леднева, которая лежит посреде канала, и старой дворец в Ладоге на конце канала для строения и для житя ему, покамест оной господин генерал при деле того канала будет, ему отдается».

Как же не радоваться? Прибыток богатый. Леднево становится управительской деревней. Теперь у всех ледневских мужиков, копающих канаву, почитай, половина заработка пойдет в зачет барщины.

В самом Ледневе рыбаки отдадут знатную часть улова на господскую кухню. Пожалуй, и старенькая бабка Степанида Федоровна свои знаменитые тряпичные половики, вытканные морщинистыми руками на трясучем стане, понесет барыне, которая и слова по-русски не знает.

Новый помещик появился на Руси — Бурхард Кристоф Миних.



О ВЕЛИКОЙ ПРЕМУДРОСТИ — КАТЕХИЗИСЕ

Со стороны тракта к каналу катилось огромное, странного вида пыльное облако. В нем ничего не разглядеть. Слышались только топот и крики.

Лишь приблизясь к самой бровке канала, пыль стала оседать, из облака возникло стадо оленей. Стукаясь рогами, они жадно искали корм на земле, выщипывали травинки. Видно было, что стадо проделало долгий путь, животные исхудали, у многих грязная шерсть висела клочьями, потрескались копыта. Конные погонщики, свесясь с седел, размахивали длинными бичами, гнали стадо к водопою.

Один из погонщиков соскочил с лошади, засучил штаны, вошел по колено в озеро, умылся холодной даже в зной ладожской водицей.

Первым узнал гостя Егор Шеметов. Он позвал Захара, подводившего со своей артелью воду к шлюзу:

— Смотри-ка, родич твой прикатил.

Иван Круглой вытирал лицо подолом рубахи. Захар почувствовал, как что-то смутное, злое сжало горло, стало трудно дышать. Он отступил, повернулся. Уйти, скорее уйти...

Напрасно ждал Захар, что после водопоя погонят оленей дальше. Погонщики решили дать стаду отдых до утра.

Олени держали путь в Питер. Зачем и почему, догадаться было нетрудно. Еще прошлой весной вышел указ: раскольничьим скитам в межозерье поставлять на канал мясо — солонину — и рыбу. Самое же главное обязательство такое: в летние месяцы, когда на строительстве особенно чувствуется нехватка людей, пустынножителям трудиться на копке, на плотницких и прочих канальных работах.

Пример тому был давний: поборы с выгозерских староверов хлебом и работой для Петровского завода.

Пока в ладожских скитах молились, выгозерские раскольничьи отцы надумали, как отвести беду. Самые ловкие, умелые трудники каждый год на морских шкутах ходили для промысла далеко на север, на остров Грумант, на Вайгач, на Канин. Дело прибыльное. Возвращались на судах, по край бортов загруженных треской, моржовыми клыками, нерпичьим жиром, соболиными да медвежьими шкурами...

Нынче же Иван Круглой водил молодую братчину на Канин Нос за иной добычей. Отбили они у самоедов стадо в сотню оленей. На Ладогу пригнали едва половину. Олени посбивали копыта, мерли от бескормицы.

В межозерье, где целые деревни связаны родством и приятельством, знали во всех подробностях северные приключения кругловской артели. Знали, что причудливое рогатое стадо гонят в Питер, на потеху царскую, чтобы умилостивить, задобрить, добыть какую ни на есть льготу для староверской общины...

На канале Иван Круглой во все часы, пока отдыхали олени, выспрашивал у служилых людей, есть ли какие перемены в Петербурге. Всем задавал один вопрос:

— Кто у нас теперече царь?

Вопрос не напрасный. Перемен в столице было немало, одна страшнее другой.

Царица Екатерина померла, прожив чуть больше сорока лет. На престоле — Петр Алексеевич.

Такой вот шутливый нрав у истории. Этот государь, кого когда-то дед называл «Петрушей-маленьким», сын казнен-

ного в Петропавловской крепости царевича, был по мужской линии единственным наследником в роду Романовых.

Двенадцатилетнему подростку впору играть в оловянных солдатиков, а не думать о делах государственных. Словно круги по воде, в столице расходились слухи о событиях невероятных. Неясно, кто берет верх при дворе. Удержится ли Меншиков?

Очень скоро стало известно: тороватый князь не только удержался, но стал еще могущественней. Дочь свою объявил государевой невестой.

Среди этих встрясок-перетрясок кому могли быть интересны сомнения и раздумья безвестного раскольничьего старшины? А ему надо было сообразить многое. Кому дарить оленей? Кого просить о защите? Искать путей к самому Александру Даниловичу или к княжне-невесте? Не получилось бы тут какой промашки.

Еще не вполне рассвело, когда начали поднимать оленье стадо и выводить его на тракт. Захар встретился с Иваном нос к носу, возле сеновала, где на время обосновались погонщики. Захар шагнул в сторону. Круглой остановил его:

— Погодь, родимый... Аль забыл, что я тебе заместо отца дан богом? Короткая же у тебя память.

Голос был ласковый. Захар остановился, подумал: не скажет ли чего о Дарёнке? Ведь все это время от нее не было ни малой весточки.

Круглой заговорил о другом. Старые покоры, продолжение ненужного спора:

— Ты вот променял наше благочестие на кирку с лопатой. Доволен ли?.. А знал бы ты, кем славится нынче Выгозерский-то скит. Отец Аггей — святой чудотворец. Всякие тайны перед его очьми раскрыты. Любую пропажу найдет. Каждой потраве след разыщет. Истинно, свет божий несет людям. К нему из Петербурга за советом ездят. Слова его, как благодати, ждут. Только он не всякому покажется, не каждого правдой своей одарит... Из мира отшельник, затворник, страстотерпец...

От избытка почтительности Иван перешел на шепот. А Захар все ждал, не молвит ли он хоть словечко о Дарёнке. За незначащими словами происходил разговор жаркий, беззвучный, одними лишь взглядами.

Захар униженно и жадно молил: «Весточку, хоть самую малую весточку об отнятой у меня невесте, ты же видишь,

тяжко мне». Иван злорадствовал: «Так тебе и надо, отступник, слуга дьявола. Ничего не скажу. Прими заслуженную муку».

На прощание, голосом совсем уж елейным, Круглой сказал:

— Эк у тебя личико-то перекосило. Несладко, видать, живешь.

Смирной пошел прочь с низко опущенною головой. Ничегошеньки-то он не забыл. Думал о Дарёнке вседневно. Сейчас появление Ивана все всколыхнуло с нестерпимой болью. Да уж жива ли Дарьюшка? Хоть повидать ее одним глазком. Убежать бы с канавы на день, на час...

Убегать не понадобилось.

Снаряжался большой обоз по скитам за вяленой рыбой. Путь предстоял от ближней Кивгоды к дальнему Выгозеру. Смирному ничего не стоило напроситься в тот обоз головщиком.

На следующий день обоз был уже в Кивгоде. Едва свечерело, Захар поспешил к заветному пролому в заборе. Только пролома не нашел, оказалось, он зашит новыми, крепкими досками. Смирной попробовал оторвать одну. Но в это время кто-то облапил его сильными ручищами, выдохнул вместе с сивушным запахом в самое ухо:

— Ты что тут мудруешь? Вот сволоку тебя к отцу-эконому!

Смирной не сразу узнал ковача Арефия. По-настоящему-то ковачом он был давным-давно, в молодости. Понаторев в расколе, начал пономарить в часовенной службе, а последний десяток лет наставлял сирот-малолеток в катехизисе. Но к староверству относился как-то насмешливо.

До сих пор Арефий считал самым стоящим для мужика делом кузнечное. У себя в подполе хранил молотки, клещи и любил, когда его не только называли ковачом, но и обращались за помощью именно по кузнечной части.

Человек он был веселый, в староверской общине искал сытости, хмельной бражки и ничего больше.

Арефий признал Захара сразу. В прошлый приезд Смирного ковач обошел его, не здороваясь. Теперь — другое дело. Видать, канавские силу набирают. Скитские же, как ни рыпаются, головушку клонят. Глядишь, святым отцам дадут лопату в лапы, заставят русло копать. Арефию не страшно, руки привычные, натруженные. А вот как

старшины староверские, жирные богомолы на канале потрудятся? Вот потеха...

С ковачом можно было говорить напрямик. Когда-то он показывал Захарке азы. Этот не продаст, не выдаст. Для него нет большего удовольствия — обойти скитскую строгость. Ни в чем не таясь, Захар рассказал, зачем он тут у забора крутится. Арефий ухмыльнулся:

— Ты, как я посмотрю, ловок... — Задумался, помолчал.— Знаешь что, пойдем в келью. Там меня несмышленыши ждут. Отпущу их, чего-нибудь придумаем.

В ковачовой келье было тесно и душно. Почти всю ее занимала плохо выбеленная печь. С лежанки свешивалась грязная овчина. В одном углу кельи — икона. В другом — на приступочке — большой двухведерный самовар. Только этим медным, огненно начищенным чудищем и отличалась келья от обыкновенного мужицкого жилья. Повернуться в ней было негде. Полдюжины ребятишек возились, пищали, волтузили друг дружку. Только раскрылась дверь, они стихли, чинно уселись на скамье.

Не глядя на них, Арефий водрузил на багровом носище очки с одним выбитым стеклом. Достал из сундука переплетенную в кожу рукописную книгу. Послюнил пальцы, пошелестел страницами. Произнес торжественно:

— Сие есть катехизис, премудрость великая. — Устремил палец ввысь. Рявкнул: — Вопрошаю: из чего бог сотворил Землю? Ответствую: Из песку, а песок этот достал со дна моря сатанаил.

Смирной прислонился к косяку, повеяло не такими уж давними воспоминаниями. Когда-то и он сидел здесь на пристенной лавочке, в таких же посконных рубахе и портах, и слушал грозного Арефия, и сердце замирало, в сознании рисовался страшила сатанаил: как он — шасть в дверь, да как схватит за волосья... Правда, тогда Арефий был помоложе, и нос у него был самый обыкновенный нос, а не толстая дуля, как сейчас...

Весь урок проходил в чтении вопросов и ответов, знакомых Захару не только по сути, но даже по оттенкам Арефьева голоса.

— Из чего сотворен человек?

— Тело человека сотворено из шести частей: от камня — кости, от черного моря — кровь, от солнца — очи, от облака — мысли, от ветра — дыхание, теплота — от духа.

— Отчего болезни в человеке?

— Болезни в человеке оттого, что диавол истыкал тело Адама в то время, когда господь уходил на небо за душою.

В этом месте катехизиса ковач, не глядя, тыльной стороной ладони стукнул малыша с белобрысеньким хохолком на затылке. Малыш ничем не провинился, но, видимо, стукнуть его надо было непременно, для порядка.

Захар улыбнулся. Как будто тут ничего не изменилось за прошедшие годы. И в его скитском детстве вот так же, именно после «Адама и господа», беззлобно размахивался Арефий. И наверное, так же бедные огольцы перед уроком спорят, кому садиться по правую руку ковача...

— Где зародился сатана?

— На море Тивериадском, в девятом валу.

— На чем стоит Земля?

— Земля основана на трех великих китах, питающихся райским благоуханием.

Захар помнил, что после этого ответа ковач-учитель постоянно (каждый вечер, без всяких изменений) опускал голову и мирно засыпал. Так и есть. Громкий храп прозвучал на всю келью.

Арефий вздрогнул. Тряхнул головой. И продолжал урок. Он спрашивал, ему отвечали ребячьи нестройные голоса:

— Из песку... Шесть частей... Три кита...

Закончился урок неожиданно. Арефий разомлел от усталости. Зевнул, перекрестил рот. С удивлением посмотрел на ребят, будто удивился, что они еще здесь. Заорал:

— На сегодня все... Кыш отселева, сопляки!

Мальчишек словно ветром вымахнуло из кельи.

Не спеша, ковач достал молоток, долго выбирал гвозди и какие-то железные планочки. Потом сказал Смирному:

— Теперча пойдем по твоему делу.

Захар забеспокоился:

— Стемнело ведь, а лаз-то мы не нашли.

— Зачем лаз, — преспокойно заметил ковач, — пойдем как следует, в калитку.

— Ты все пошучиваешь, — с горечью проговорил Смирной.

— Шучу, — потвердил Арефий, сгреб в кулак инструмент, свободной рукой подвинул Захару черную поддевку, скуфью, — одевай-ка побыстрей.

— Зачем?

— Я тебя с малолетства смышленым считал, — укоризненно качнул головой Арефий, — видать, ты не поумнел там, на своей канаве... Одевай, сказано тебе. Времени у нас не так чтобы много.

Уже в пути, ничуть не убавляя свой раскатистый голос, объяснил:

— Меня давно просили в ихней трудницкой избе рамы накладками подтянуть, рассохлись рамы-то. Ну, я — старый ковач, а ты мой подручный. Кто тебя, дурня, в темноте разглядывать станет?

Миновали сад. Вошли в сени. Открыли дверь горницы. Захар ничего не видел вокруг, не заметил убранства, не мог бы даже сказать, есть ли кто-нибудь еще в горнице, кроме Дарёнки. «Жива, жива!» — только одно это слово звенело в нем.

Потом уже стал различать, что платок у нее очень низко насунут на брови, щеки кажутся изжелта-бледными, а руки мокрые и красные, изъеденные рассолом. Молодая трудница квасила капусту. Тоненький ее стан согнулся над широкой, объемистой бочкой. Чуть потрескивал светец. Бочка в полутьме казалась черной, бездонной.

Захар не сразу понял, о чем говорит ему Арефий. Тот повторил дважды:

— Держи накладку! — и прогудел в самое ухо «подручному»: — С кем тебе надо перемолвиться? Сейчас кликнем... Ишь сколько их тут шмыгает, чернохвостых...

Смирной даже испугался этой мысли:

— Что ты, Арефий. Никого кликать не надо.

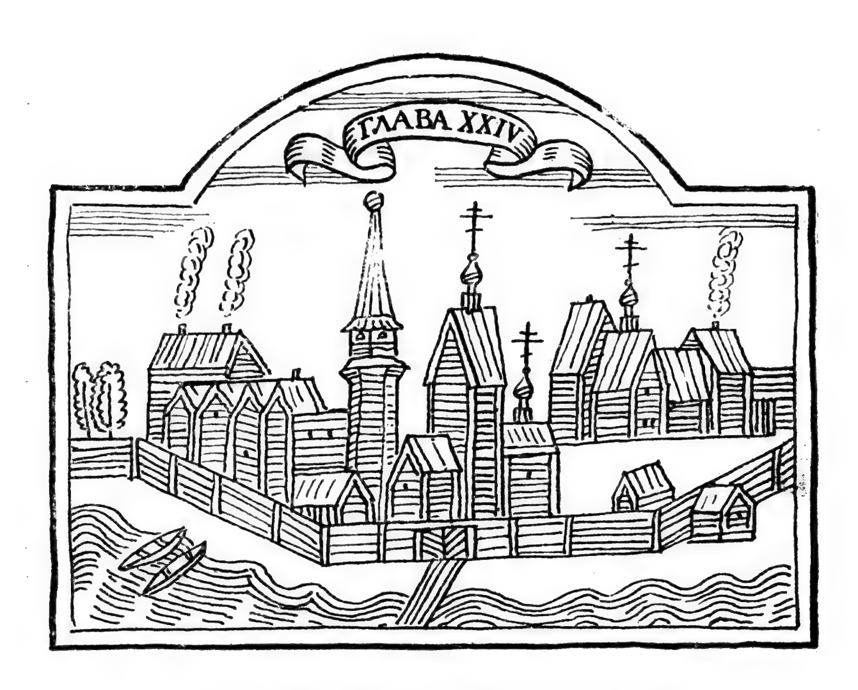
Ковач засопел, сильно и громко стукнул молотком.

Молча вышли из горницы. За всю дорогу не обменялись ни словом. Лишь возле своей кельи ковач рассерженно проговорил:

— Староват я, чтобы надо мной этак-то насмехаться...

Смирной пошел к обозу — распряженный, с поднятыми оглоблями, он вытянулся посреди скитского двора. Захар бросил в телегу охапку сена. Долго ворочался. Не мог заснуть. Широко открытыми глазами смотрел на звезды. Должно быть, это им, звездам, он сказал:

— Без Дарёнки мне не жить.



О ВЫГОЗЕРСКОМ ОТШЕЛЬНИКЕ

Во всех скитах, от берегов Онеги до берегов Ладоги, раскольники молились непрестанно, смиренно и преданно. С упованием и надеждой. Просили своего мрачного бога — дал бы силы пережить гонительное время, противостоять супостатам.

«Господи боже, всесильный и праведный, оборони от работ канальных. Велят нам — молитесь щепотью. Велят — не сугубьте алиллую, не ходите посолонь. По дьявольскому наущению гордецы, бражники, еретики задумали переменить святой от века лик Земли, режут его вдоль и поперек рукотворными руслами. Гонят людей нещетно на богопротивную работу, не пощадили и скитских пустынников. Теперь уж податью двойной не откупиться. По душу нашу пришли, по наши руки, по нашу кровь. На канаву гонят.

Видно, последнее время приходит, последний час. Боже всесильный и мудрый, оборони и защити...»

Молитва́ «канальная» впервые сотворена была в Выгозерском погосте, староверской столице межозерья. Отсюда разлетелась она по бесчисленным раскольничьим часовням.

Выгозерская обитель началась вскоре после «соловецкой смуты». Тогда на Белом море соловецкие монахи отказались принять посланные из Москвы новоисправленные божественные книги. Не побоялись жестокой кары и осады острова. Из монастыря бежал в Повенец дьякон Игнатий, молитвенник и прирожденный воин. Он собрал братию, с бою взял монастырь на побережье. Закрылся в нем и с тремя тысячами своих приверженцев сжегся. Не покорились властям.

От Игнатия через выученика его Андрея Денисова и повелась Выгозерская пустынь.

В те годы, когда началась распря между канальными и староверами, Денисов еще был жив. Человек большого ума и сильной воли, он наставлял скитников противоборствовать «антихристовым слугам».

Выгозерская пустынь раскинулась на много верст по озерам Таго и Белое, по берегам порожистых быстрых рек — Выг, Сегежа, Ковжа.

По всем окрестным деревням — на десятки верст — торговля зерном, медом, рыбой и пушниной была в руках старообрядцев. Им было чем откупиться от любой напасти. Но строительство канала требовало не денег, а рук...

У ворот Выгозерского погоста Захарову телегу, а за нею и весь обоз остановили двое иноков не иноков, однако же в черной, монашьего покроя одежде. Спросили — откуда? Смирной объяснил, что едут с канавы. Для верности один из встречавших переспросил:

— Стало быть, с канавушки Ладожской?

— С нее самой, — подтвердил головщик.

— Ладно.

Канавские не тотчас заметили, что рядом с теми двумя уже выровнялись еще с десяток молодцов. Они, не говоря худого слова, распустили хомуты у коней, вывели их из оглобель. А когда возчики загалдели, недовольные таким самоуправством, молодцы, несмотря на свой божественный облик, вздули гостей вполне исправно.

Смирной же в драке кому-то неаккуратно свернул скулу. Поэтому его связали и доставили в покои самого Денисова. Старец доживал свои последние годы. У него почти не было зубов, речь его не сразу поймешь.

Он спросил, откуда обоз, кто за старшего, зачем приехали. Потом долго и по-мужицки забористо ругал своих «ребятушек». Синяк, разлившийся у Захара во все подглазье, потрогал с явным удовольствием. Прошамкал:

— Не обессудь, голубчик.

— Так я же у ворот объяснил этим чертям, что канавские мы.

— Вот то-то и есть, — вздохнул старец, — а ты не родич ли Ивана Круглого? Помнится, он мне про своего питомца рассказывал. Значит — про тебя?.. Ну, поживи у нас... Мы — добрые. Всего пошлем на канавушку — и рыбки, и хлебца.

Не стал расспрашивать Захар, что означает настоятельское «то-то и есть» и почему это канавских надо встречать чуть не в колья. Главное — получить все надобное и уехать из этой неспокойной обители.

В Выгозере, однако, обоз задержался дня на три.

За это время канавские успели подружиться (благо знакомство состоялось раньше) с иноками не иноками, у которых пудовые кулаки.

От староверских «ребятушек» Смирной услышал слово в слово то же, о чем говорил Иван, когда пригнал оленей на канал. По всей округе разлетелась молва о выгозерском отшельнике. Всюду толкуют о божьем человеке, отце Аггее.

Богатые купцы и чиновники приезжают к нему на поклон. Чуть у кого из них случится пропажа или потрава, спешат к Аггею, на коленях ползут к дверям его бедной, дощатой хибары. Со слезами вопрошают. И ясновидец — великий пророческий дар дан ему свыше — прямо укажет, где искать украденное.

Да ведь не каждому скажет. Иного обзовет «нечестивцем» и велит прогнать в шею, будь он хоть высокого звания. Кому и скажет — не сам, через служку. Нерушимый его обет: людей не видеть. Только иной раз с самим настоятелем и ближними его людьми трапезу приемлет.

Но это бывает редко. Живет водой и черствым хлебом. Спит на рогоже, в изголовье — полено. Под рубахой носит тяжкие железа.

В воскресный день спозаранку обитель переполнили молельщики. С пустыми руками никто не приехал. Кто побогаче — привез мешки с крупичатой мукой, свежинку, окорок. Бедняки несли куренков общипанных, творожные или картофельные рогульки. Тут всякое даяние почиталось благом...

В чудеса и всякие пророчества Захар давно не верил. Но то, что он увидел в этот день возле Аггеевой хибары, заставило его призадуматься.

Здесь оказалось самое людное место во всей обители. Толпились жаждущие совета. Но всего больше собралось любопытных.

На пороге кельи стоял служка, мужчина могучего сложения, в канифасовой рубахе, с намасленными и гладко расчесанными кудрями. Кто-то из просителей не понравился служке, велел тому убираться. Приказание было исполнено безропотно, со вздохами и душевным сокрушением.

Захар с интересом смотрел на купчину, потного и краснолицего. Он протолкался к двери и ждал с самым умильным видом. Служка долго не обращал на него внимания. Наконец купчина догадался сунуть ему монету. Служка привычно спрятал ее в карман.

— Чего надобно?

— Родимый, потолкуй с божьим человеком, — неожиданно плачущим голосом проговорил купец, — муторно у меня на душеньке. Не случится ли со мной ноне чего худого?

Служка тряхнул кудрями, исчез в хибаре. Очень скоро снова появился на пороге. Произнес раздельно, торжественно:

— Отец Аггей велел сказать тебе — уже случилось.

Купец всполошился, побледнел.

— Да что же, что?

— У тебя коней со двора увели.

Купец умчался из Выгозера. К вечеру здесь уже знали, что отец Аггей все предвидел в точности, — коней действительно увели.

Как тут не подивиться прозорливости отшельника. Рассказывают, это уж не первый случай. Ни о чем подобном Захар не слыхивал ни в Кивгоде, ни в других скитах...

На следующий день груженый обоз потянулся из Выгозера. Настоятель не поскупился — все исполнил по-обещанному.

Смирной порадовался, и было чему. На канаве, в лавках привыкли к лежалому, плесневелому хлебу, гнилым крупам. Все скитское — ядреное, добротное.

«Ладно, — думал Захар, — пусть канавские горемыки поедят сытнехонько. А то с подрядчиковой тухлятины животы вовсе подвело».



О ВОРОБУШКЕ СЕРЕНЬКОМ, НЕПРИМЕТНОМ

Из столицы приходили вести, верить которым опасались. Александр Данилович Меншиков, генерал-губернатор санкт-петербургский, светлейший князь земли Ижорской, первый после царя человек на Руси, не удержался-таки на добытой высоте.

С устрашающей внезапностью он оказался просто безродным и никому не нужным стариком. Со всеми своими домочадцами Меншиков отправился в ссылку, в далекий заледенелый Березов. О недавнем всесильном властителе в Питере говорить перестали разом, в одночасье, будто заживо похоронили человека.

У Петра Второго — новая невеста. Он помолвлен с Екатериной, сестрой государева дружка, шестнадцатилетнего Ивана Долгорукого. Вот кто нынче возвысился: род Долгоруких, древний, боярский, кость от кости Рюриковой. Только при

дворе и бывают такие перемены. Как на качелях. Вниз — вверх. Вниз — вверх. Дух захватывает.

Петруше малому недосуг всерьез подумать о чем бы то ни было. Времени нет. Пиры сменяются охотой, охота — шумными празднествами.

В упадок приходит задуманное и начатое великим дедом. Затихают литейные дворы, пустеют верфи. В кронштадтской гавани гниют корабли.

В тот год, еще прежде меншиковской опалы, для многих неожиданно на поверхность придворной жизни всплывает генерал-директор Ладожского канала — Бурхард Кристоф Миних. Да и как еще смело пошел он на взлет.

Талантливый инженер, умелый строитель плотин, шлюзов, бейшлотов оказался еще лучшим устроителем придворных интриг. Одному только богу известно, как он прокладывал себе дорогу в бурных потоках столичной жизни. Когда надо — смел и тверд, вовремя ловок, вовремя осторожен и всегда лукав.

Он командует уже всеми фортификациями России. Звание члена военной коллегии и генерал-аншефа тешит его недолго. Впереди видится небывалая власть, кружащие голову почести.

Можно только удивляться, что за всеми теми делами он не забывает о канальном строительстве. Правда, на Ладоге он бывает теперь пореже. Но в каждый приезд деловито проверяет выемку земли и оставляет Людвигу или Резанову программу работ на ближайшую неделю.

Кто бы в Петербурге ни одерживал верх, чьи бы головы ни летели, кто бы ни рядился в осыпанные алмазами мундиры, «канавушка Ладожская» строилась своей чередой. Землекопы, плотники, камнетесы встречали день и проводили его в великих трудах.

Они лишь по присяжным листам узнавали о новых баловнях питерской фортуны. Раздумывать о том недосуг.

Веснами полно забот — не залило бы русло, осенями — не снесло бы штормовой водой плотины. И так из года в год.

На канале спешно готовили к судоходству шестидесятиверстное плечо. В Кобоне достраивали выпускной шлюз. Канал тут расширялся, образуя небольшую гавань. Вся эта гавань с незакрепленными еще берегами и само русло, насколько хватал глаз, были забиты шнявами, гукорами, волжскими ладьями, которые ждали выхода в озеро. Над водой голым лесом шевелились мачты.

Шлюзовую работу доделывали денно и нощно. На подмости приходили судовые шкиперы и матросы, торопили, ругались. А под конец сами взялись за топоры и лопаты, чтобы помочь канавским.

Так велика была нужда в канале, что он становился в строй готовыми отрезками, раньше полного окончания.

Ворота кобонского шлюза раскрылись ночью. На лебедках с гиканьем, криками, запевками работали десятка два добровольцев. Ворота расходились медленно-медленно. Вначале показалось, будто они совсем не движутся. Но вот в створах проблеснуло озеро.

Люди на бровке канала весело вопили, размахивали руками, приплясывали.

В костер, только что светивший плотникам, подбросили охапку валежника, пламя сразу взметнулось высоко в небо.

Гавриил Андреевич, пускавший в ход кобонский шлюз, усталый, припухшими от бессонницы глазами смотрел на разудалую сумятицу у костра.

Работные и матросы праздновали половинный задел и выход на второе плечо канала. На берегу горели уже десятки костров.

Резанов с любопытством вглядывался — кто это там в кругу, у огней носится, вертится, топочет в сумасшедшей пляске? Подошел ближе и глазам своим не поверил — отплясывал Егор Шеметов! Когда же это он спроворил? Ведь недавно был на шлюзе, налаживал лежни, маслил железные сердцевины блоков, чтобы тросы шли легко, не горели. И вот он уже здесь. Не успел помыться, чумазый, через все лицо — темные полосы. В ладонях еще клок пакли, которой убирал излишек масла.

Не узнать Егора. Обычной его мрачности как не бывало. Он бросил паклю в костер, языки пламени взлетели ввысь. Шеметов заложил два пальца в рот, оглушительно, по-разбойничьи засвистел.

С ближнего гукора вышла полюбоваться весельем румяная молодка повариха. Егор подхватил ее, закружил.

Все сцепили руки, повели развеселый деревенский хоровод. Сбежались сотни людей — с причалов, с судов, из землянок. Всех подняли знакомые звуки «Воробушка».

Разноголосо гремел хоровод:

Скажи, скажи, воробушек,
Как девицы ходят?

Егор проплыл внутри круга мелкими шажками, вертя головой.

Они этак и вот этак,
Туды глядь, сюды глядь,
Где молодцы сидят.

По требованию хоровода разбитной плясун уморительно смешно показывал походку купцов, и бояр, и хромых, и пьяниц.

У воробушка голова болела,
Так болела, так болела,
И рука, и спина, и ноженьки.
Уж как стал воробей приседать,
Так приседать, так приседать.

Шеметов не удержался на ногах, упал, перевернулся через голову. Грохнул такой хохот, что галки в своих гнездах на высоких елях проснулись, закричали, полетели прочь.

Хоровод расцепился. Отплясывали по двое, по трое, положив руки на плечи друг другу, а то и каждый сам по себе.

Воробьи скачут, воробьи пляшут,
Попелищут, попелищут!

В танце не было ни музыки, ни лада. Отчего же так и подмывает броситься в этот угарный, без вина хмельной круг? Люди справляли самый святой праздник на земле — рабочую удачу!

Удивительное чувство близости к этим простым, чистосердечным людям испытывал Гавриил Андреевич.

Ничего-то не сделать без них, упорных, удалых, многогрешных, рвущих жилы, теряющих жизнь в болотах, на родимой земле. Ах ты, воробушек, неприметный, серенький...

Подкатился Егор, крикнул задиристо, дерзко:

— Давай спляшем, господин механик!

Корабли один за другим, миновав шлюзовые ворота, уходили в бурное озеро, белеющее гребнями волн.

С палубы валкого, кубастого гальота, придерживаясь рукой за мачту, зычно прокричал рослый шкипер в просмоленом плаще:

— Э-эй, вы там, на канаве! Поторапливайтесь, воробушки!

Ветер ревел в снастях, клал гальот на бок. Воду в канале чуть рябило.

Еще не кончилась ночь, когда Резанов двинул землекопные артели на второе плечо канала — от Кобоны через Шальдиху к сельцу Назия.

За одну навигацию через кобонский шлюз «разных прибывших из российских городов с разными припасами и с адмиралтейским дубом, без всякой вреды и помешательства, барок и других судов 774 пропущено, которые в Санкт-Петербург прибыли благополучно».

Год 1728-й на строительстве выдался горячий.

От Кобоны до Назии — двадцать две версты. Землю приходилось брать из-под воды. Пробились обильные родники. Каждая лопата — тяжелей вдвое. Ноги месили засасывающую жижу.

К июлю землекопы прошли половину пути до Назии. Русло было вырыто до полного профиля. Впритык за землеройными артелями шагали парни с топорами в руках. Они крепили берега заборником.

Строительство продвигалось вперед шумной и широкой полосой в несколько верст, как лавина или река, потерявшая берега. Оно наползало на вековые, тихие селения, сразу захлестывало их топотом ног, ржанием лошадей, скрипом бесчисленных колес, грохотом копров, стуком молотов в кузницах.

В устье Лавы испокон жили гончары. Обычно здесь полными днями жужжали ножные круги. Умелые мастера покрывали крынки, горшки, чашки нежнейшей глазурью, босоногие месильщики уминали глину, по пояс голые обжигальщики укладывали готовую посуду в печи.

С приближением канала самые молодые лавские жители становились коногонами, либо «паузниками» — перегружали с мелкоосадчатых барок мешки на более крупные озерные суда.

В Шальдихе были целые семьи ложкарей. Славились их расписанные, цветастые, долбленые ложки с ухватистой рыбкой на конце. Ложкари становились плитоломами. Уходили в недальнее Путилово, вырубали ноздреватый крепкий известняк для отделки откосов канала.

Всем давала работу канавушка. Рыбаки, знавшие все мели и перекаты, водили через озеро плоты. Даже мальчишки шли на суда отливщиками.

К осени новое русло приблизилось вплотную к Назии. Работные артели были наряжены на линию до Липок.



О ЕГОРОВОЙ НАХОДКЕ

Прокладка Ладожского канала была не только самым большим строительством в России, но и единственным, где работы шли днем и ночью, летом и зимой. Работы продолжались и в ливни, которые в какой-нибудь час по край заполняли вырытые ямины, и в снежные метели, заносившие все дороги, и в морозы, когда плевок замерзал, не долетев до земли, а ладони было не отодрать от железных поручней насосов-качалок.

Зимой с этими качалками помучились вдоволь. Они замирали, не выбросив и десятка ведер. Тут уж пришлось поколдовать резановской команде — так и осталось за ней это прозвание, хотя управские чиновники и запретили его настрого. Акимушка, Захар и Егор придумали одевать насосы железным кожухом-печкой. В них славно горели еловые чурочки, и говорили об этих насосах не «качает», а «топится».

Только вот вода в желобах далеко не уходила, намерзала крутой наледью. Никого это не тревожило, — придет пора, весеннее солнышко растопит, унесет зеленые, плавкие горы.

Над руслом канала стлались сизые, дымные валы. Люди выбегали к кострам — сунут огрубелые, не боящиеся жары руки чуть не в самый огонь, потопчутся, постучат нога о ногу и снова хватают заступы, топоры, гонят тачки.

В те дни, когда Миних задерживался в Петербурге, майор Людвиг начальствовал на канале. Тут уж он всем давал понять, что власть в его руках. Жаловаться на него было бесполезно. Миних всегда и во всем поддерживал своего помощника.

Открыто ругать Резанова майор не смел, но считал, что все беды, начиная с канавского бунта, на совести механика. Он непозволительно мирволит работным. Слишком уж якшается с ними и тем роняет свое дворянское достоинство. А работных только портит.

Людвиг твердо держался самого простого правила: он велел, лапотники сделали. Лапотниками он называл всех мужиков. Тот, кто не выполнил приказания, должен быть наказан. Очень важно, чтобы виновный знал: пощады не будет. Если работные перестанут бояться начальства, добра не жди. Страх — чувство необходимое.

Ведь вот что делает этот Резанов. Генерал поступил весьма мудро, разогнав кондукторскую школу. Все же механик держит около себя помощниками простых землекопов. Мало того, он продолжает их учить. Людвиг собственными ушами слышал, как Резанов объяснял им, что на канальном строительстве прокладка русла — дело не самое главное. Всего важнее то, что поднимается и врастает в землю рядом с руслом: однокамерные и двухкамерные шлюзы, дамбы, водоспуски, шандоры из железа и дерева, которыми открывается и закрывается доступ воды. Каждый термин подробнейше толковал, как людям, равным себе. Объяснял назначение всяческих воротов, лебедок.

Как же он сказал, механик Резанов? «Главное назначение механики — облегчать человеческий труд». Да, так и сказал.

Обо всем этом будет доложено генералу, пусть только он вернется из Петербурга...

Тем временем канальное строительство разрасталось. Тысячи лапотников углубляли русло. Другие тысячи лапотников

валили лес для креплений. Еще тысячи лапотников тесали плиту и подгоняли ее на земляных скосах.

Злое же словцо выговорил Людвиг. Но ведь не господин майор придумал его. Канавские парни и сами называли себя лапотниками, посмеиваясь над собой. Что правда, то правда. Лапоть — первая российская обувка.

Ложе канала прорезало Назию. Егор Шеметов копал разогретую землю, когда вдруг на его лопату лег белый человеческий череп. Да так ловко лег, что пустыми глазницами уставился прямо на Егора. Он отшатнулся, перекрестился и осторожненько отбросил зловещую находку.

Снова начал копать, и опять лопата ткнулась в белую кость. Этого Шеметов выдержать не мог. Он бросил лопату и побежал искать Акимушку.

Чертопруды, как всем давно известно, знаются с нечистой силой. Акимушка спокойно разглядывал череп. Потом принялся сам копать. Каждый его взмах открывал такие чудеса, что удивления достойно.

«Егор клад нашел!» — эта весть облетела всю канаву. Конечно, то был не клад, а всего-навсего человеческие кости. Они складывались в полный скелет.

Там же, под толщей земли, лежали перегорелые угли. Когда же огонь этого очага светил людям? Сколько веков миновало с тех пор? Возле очага валялись камни грубой выделки, но с тщательно отточенной острой гранью. Горбун взвесил каменный топор на ладонях. Силен же был древний обитатель приладожского леса, если с таким орудием выходил на зверя.

Лопата отщепила кусок дерева. Открылся угол старого сруба. Дальше из-за твердой земли раскопать его не удалось.

— Что это? — удивленно спросил Егор.

— Видать, тут когда-то, годы не счесть, люди жили, — раздумчиво ответил Акимушка.

— Значит, под нынешней Назией еще деревня была?

— Этого я не ведаю, — отозвался чертопруд.

— Мы ведь прах потревожили, — тихонько проговорил суеверный Шеметов, — давай зароем косточки. Не годится, чтобы их дождичком мочило, ветром сушило.

— Стой, стой, — крикнул Акимушка приятелю, уже взмахнувшему лопатой, — ты государев указ знаешь?

Такой указ, еще Петровских времен, действительно имелся, хранили его в строительной управе, а до того объявили

всем землеройным артелям. В нем говорилось о древних находках:

«За человеческие кости за все (ежели чрезвычайного величества) тысячю рублев, а за голову пятьсот рублев. За деньги и протчия вещи, кои с подписью, вдвое, чего они стоят. За камни с надписью по рассуждению. Один гроб с костьми привесть не трогая. Где кладутца такие, всему делать чертежи, как что найдут».

Акимушка этот указ помнил. Ясно было, что кости, хотя они и не «чрезвычайного величества», надо везти в Питер. Землекопы, сгрудившиеся у древнего сруба, сначала не очень заинтересовались находкой, посмеялись над «кладом». Но, когда сообразили, что тут можно получить немалые указные деньги, стали торопить горбуна. Пусть едет в Питер, сдаст там кости, пусть скорее возвращается с деньгами и покупками. Почти каждый требовал, чтобы Акимушка не запамятовал, какую именно покупку сделать: кому кожаный кисет, кому пряников, кому глиняную свистульку для ребятишек... Канавские мальчишки и девчонки, одетые в тряпье и овчину, вертелись тут же и на все лады верещали, как хлопотливые синички на пригреве.

Не теряя времени, чертопруд погрузил все, что можно было, в сани, дернул вожжи, выехал на петербургскую дорогу...

Дальнейшие события стали известны на канаве по Акимушкиному рассказу.

В Питере он с этими самыми костьми мотался из губернаторской канцелярии в полицмейстерскую контору, из кладбищенского приказа — прямиком на Васильевский остров, в Академию наук. Наконец добрался до Кунсткамеры.

Там ему долго не открывали. Затем по ту сторону занесенной снегом двери что-то зашуршало, застучало. Дубовая дверь пронзительно скрипнула, приоткрылась чуть-чуть, потом немного больше. В щель смотрел сердитый глаз.

— Чего надоть-то, чего ломишься? — спросил сиплый голос.

Разглядев горбуна, смотритель кунсткамеры открыл половинку двери. Он был в валяных сапогах, голова замотана в теплый бабий платок.

Акимушка обстоятельно рассказал про находку на Большом канале и только под конец своего рассказа сообразил, что смотритель совершенно глух. Терпеливо прокричал ему в ухо все сначала.

Тот понял, закивал головой, показал навес во дворе:

— Вот здесь и сваливай.

Чертопруд слишком громко даже для глухого спросил, где ему получить деньги «за кости».

— Милый,— жалобно пробормотал смотритель,— я уж и сам позабыл, как они выглядят, денежки-то...

И принялся жаловаться на небрежение к собранным со всего света чудесам и раритетам. Все обветшало, все пришло в запустение.

Слушать далее было бесполезно. Акимушка вывел лошадь со двора. Спросил у прохожего, где тут, на Васильевском острове книжная лавка при типографии.

Услышал ответ. Но поехал в другую сторону. Потрогал за пазухой рублевик, завязанный в тряпичный узелок, задумался. Вздохнул и решительно погнал лошадь к Гостиным рядам.

Рублевик был заработан еще «до канавы», когда Акимушка чертопрудил на речных меленках. Берег он его, чтобы при первой оказии побывать в столице и купить каких только можно книжек по плотинному делу.

Ему часто думалось: вот придет он в светлую хоромину, где книг видимо-невидимо, и выберет то, что ему по душе, и проверит по науке отцовский и дедовский завет...

Оказия в Питер случилась. Только к книжной лавке пути нету.

До горечи обидна была Акимушке мысль, что в заснеженной Назии ждут канавские мужики, когда он привезет покупки. Такая получилась обида для всех.

Горбун понимал, что рублевика ему уж больше никогда не накопить. Мечта, казалось бы, такая близкая, вдруг стала страшно далекой, невыполнимой.

В рядах Акимушка купил пряников, орехов, деревянных раскрашенных человечков, сластей. Целый мешок гостинцев для ребятишек. Вот будет веселье-то...

На канаву чертопруд вернулся с большой задержкой, под вечер следующего дня. В Назии уже решили было: загулял мужичок.

Акимушка виновато сказал землекопам, что кости доставил «по принадлежности». Денег дали мало. Только на гостинцы ребятне и хватило.

Зашумели канавские, пожалели, что не будет у них кожаных кисетов. Кто-то с подозрением спросил у горбуна, точно

ли он все полученные деньги израсходовал, не оставил ли себе на поживу...

Махнул рукой Акимушка, побежал к Захару. Ему одному рассказал правду, и про смотрителя кунсткамерского, и про рублевик, все как есть.

Рассказал он и о том, почему так запоздал.

— Себе не верю, что живым домой вернулся.

В самом деле, эта поездка могла стать последней в жизни чертопруда.

Верстах в пяти от Назии большак шел густым еловым лесом, по берегам промерзшей до самого дна болотной речушки.

Только хотел Акимушка съехать на лед, чтобы скоротать путь, двое молодцов с топорами за поясом вышли из-за пригорка и велели сворачивать. Горбун подумал, что это плотники из Назии.

— Бросьте шутковать, ребята.

— Сказано, сворачивай! — рявкнул один.

— Давай для верности потемним его малость, — предложил другой и накинул на Акимушкину голову пыльный мешок, да еще и затянул его у горла.

Оба подсели в сани, взяли вожжи. Должно быть, ехали не дорогой, а целиной. Снег набился в сено. Горбун задыхался.

Очнулся он от гула многих голосов. Из леса, наверно, не выехали. Деревья шумели под сильным ветром.

Ничего Акимушка не видел. Почувствовал, что лошадь выпрягают, жадные руки роются в мешке на дне саней. Слышал голоса:

— Ни хлебушка не везет, ни денег в карманах. Не велика корысть.

— Сладости да игрушки. Пустяковый человечишка.

— Лошадь к табуну гони. А самому — дать по загривку, и пусть в свою деревню катится.

Вдруг раздался удивительно знакомый голос. Чей? Не углежога ли, которого «от мира» посылали в Питер с челобитьем? Не может того быть. Что тут делать углежогу? А он говорил:

— Погодите, братцы. Да я же знаю этого горбуна. Наш он, канавский.

Кто-то другой, спокойный, властный, стал допытываться: точно ли он с канавы, куда и зачем ездил? Что у них там

нового? Далеко ли увели русло? После недолгого молчания закончил так:

— Надо бы тебя дрючком поучить, чтобы в неурочное время по лесу не болтался. Да ты уж и так богом обижен... Эй, отдать ему торбу. Коня — в оглобли.

Те же двое молодцов повалились в сани, рванули вожжи.

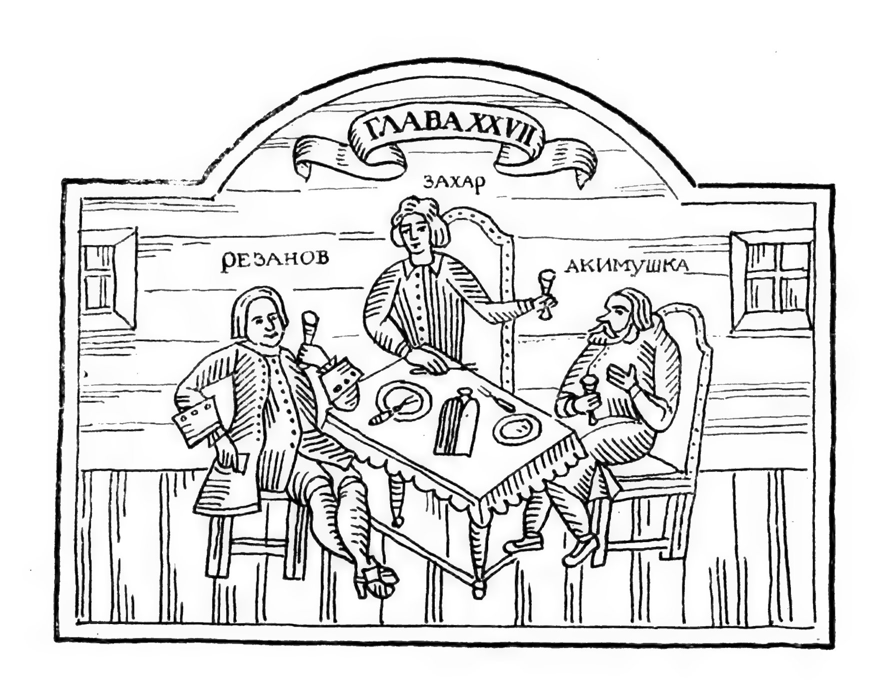
Когда с головы стащили мешок, Акимушка увидел, что он на снежном скате недалеко от Назии. Своих спутников в сумерках разглядеть не мог. А те дико свистнули, лошаденка прянула в сторону и понеслась вскачь. Такой прыти от нее чертопруд никак не ждал...

Смирной послушал рассказ горбуна и сразу вспомнил выгозерских «ребятушек», и как настоятель сказал ему: «То-то и есть, что вы назвались канавскими».

Так вот оно что: удалая ватага бродит по лесным стежкам-дорожкам.

Стало быть, из тех пятисот сорви-голов, не захотевших, чтобы Людвиг да подрядчики помыкали ими, не все покинули межозерье. Кто-то остался, пошел с кистенем искать правду в лесах.

Только они и могли сказать Акимушке — «наш, канавский».



О ТОМ, КАК ЛАПОТНИКИ СТАЛИ ИНЖЕНЕРСКИМИ ПОМОЩНИКАМИ

Вначале 1729 года на Большом канале произошло такое: механик Резанов прямо объявил своими помощниками двоих лапотников — Акима-чертопруда и Захара Смирного.

Гавриил Андреевич устроил им по всей форме экзамен на подворье. Миних не присутствовал за недосугом, Людвиг — из-за спеси. Резанов пригласил экзаменаторами двоих инженеров капитанского ранга.

Аким и Захар волновались, как ребятишки-школяры. Сначала отвечали учебные задачки, и в книжной премудрости малость спутались. Но как только один из них дошел до плотинных устройств, а второй начал рассказывать порядок землеройного дела, голоса у них окрепли, смелости прибавилось, отвечали такое, что ни в каких книжках не сыщешь.

Гавриил Андреевич тут же представил экзаменаторам

кюветные чертежи, карты резервных вод, пояснения к переделанным на зимний лад механизмам. Это была грамотная работа.

Один из инженеров не поверил, что чертежи и карты могли сделать простые канальные работные. Но другой охотно согласился вместе с Резановым поставить свою подпись под патентами на кондукторское звание.

Инженеры поздно вечером уехали из подворья. Гавриил Андреевич не отпустил новых кондукторов. Он пошарил на книжных полках и повернулся к Акимушке:

— В память о нынешнем дне прими сей дар.

Резанов протянул небольшую стопку книг.

Акимушка быстро прошелестел страницами. Тут было все по шлюзному, плотинному делу.

Откуда же Гавриил Андреевич узнал о давнем, несбывшемся желании? Уж не стала ли ему известна история про рублевик?

Чертопруд подозрительно посмотрел на Захара. Тот прилежно расставлял посуду. Акимушка прижал книги к груди, да так и не расставался с ними ни на минуту.

Долго сидели за столом, с которого еще не убраны были чертежи. На радостях пили пенную брагу. Толковали о строительных делах.

Гавриил Андреевич вдруг закручинился, примолк.

— В застолье нашем, — наконец произнес он с грустью,— недостает одного человека. Этот человек сейчас непременно поздравил бы тебя, Захар, тебя, Аким. Потому что, по правде сказать, был вашим первым учителем... Да вот беда, далеко он отсюда...

Все поняли, о ком речь. Молча сдвинули кружки в память о черном инженере. Где-то он нынче, на каких дорогах, под каким ветром?

От нестерпимых воспоминаний, от внезапно нахлынувшей тоски Гавриил Андреевич ладонями закрыл лицо. С силой почти зрительного ощущения он представил себе африканца, заброшенного в сибирские снега. Надолго? Навсегда? Неужели так и потеряется добрый сотоварищ и парижский однокашник в безысходной ссылке?..

Захар и Аким понимали всё и не хотели мешать раздумью Резанова. Они тихонько поднялись, вышли с подворья.

Тропинка, протоптанная по ладожскому льду, вела к Шлиссельбургу. Вдалеке мелькали его тусклые огни. Наверно, там на постоялых дворах не спят.

Забирал крепкий озерный морозец с ветерком. Двое приятелей потолкались, чтобы согреться. И пошли прямо на огоньки. Шли в обнимку, горланили песни.

Уже в Шлиссельбурге сторож с бессонной трещоткой в руках посмотрел им вслед:

— Видать, крепко хлебнули...

Кондукторские патенты за печатями получали в Новой Ладоге. Так как у Акима фамилии отродясь не было, а чертопрудом, по сомнительности этой клички, именовать новопожалованного не годилось, то на гербовой бумаге его обозначили как Чертопрудова.

На следующий день при встрече Егор Шеметов скинул шапку и по-скоморошьи заверещал:

— Здравия желаю, господа кондукторы!

Смирной толкнул Егора в сугроб. Тот вскочил, пошел на Захара. Они долго барахтались в снегу. Шеметову все же удалось прижать свое новое начальство, да так, что оно заорало:

— Пусти, медведь, дай вздохнуть.

Егор помог Захару подняться. Сказал:

— Хоть и завидую вам, ребята, а по совести — рад. Выходит, наши парни с канавы не лыком шиты.

Захар Смирной и Аким Чертопрудов были первыми из лапотников, кто стал инженерскими помощниками. Первыми, но вовсе не единственными.

Генерал граф Миних к простым россиянам всегда относился свысока и по всему был ближе к Людвигу, чем к Резанову. Но и он должен был признать, что на Большом канале немало таких работных, которые «через многие прошедшие годы к разным многотрудным тем канальным работам уже весьма приобыкли, також разных дел мастеры... и кондукторы тако обучены, что оная работа за их смотрением, без всякого опасения следоваться может».

Это — из рапорта, посланного с канала в Петербург. Разумеется, в рапорте не было ни слова о том, что начинателем обучения мастеровых на Ладоге стал инженер-поручик, известный всей России «арап» Петра Первого. Просто, не ко времени было называть имя Абрама Петрова...

Весна этого года была самой трудной за всю историю строительства. Прежде всего, потому, что за спиной было восемьдесят пройденных верст, и защищать от паводка приходилось десятки новых плотин, бейшлотов.

Пока не сошел снег, на канал завозили бревна, камни, кирпичи.

Еще не схлынула вешняя вода, землекопы кондуктора Смирного начали проходку от Назии через Липки к Шлиссельбургу. Это был последний перегон. До Невы оставалось 21 верста 468 сажен.

Гавриил Андреевич со своими помощниками дневал и ночевал на канале. В своей хатенке на берегу озера он почти не появлялся.

На третьей и восьмой верстах от Назии строились два водоспуска и «мурованная шлюза». Главное было в том, чтобы пропустить особо опасный для сооружений напор «зюйдской воды», образованной таянием снегов.

Устья речек, впадающих в озеро, были перекрыты плотинами и щитами, «дабы песок и всякий дрязг канал засорить не мог». Но речки разбухли, залили берега, ударили в воздвигнутые преграды. Механик полными сутками не слезал с седла, объезжая линию.

Местами повыворотило бревна, разнесло кладку. Но то — невеликие потери. Строения почти повсюду надежно держали большую воду.

На третью или четвертую бессонную ночь (механик сбился со счета) он спросил Акима:

— Не помнишь, когда мы с тобой в последний раз ели?

Аким рассмеялся:

— Я-то привычный. А вот у вашего благородия, поди, живот подвело.

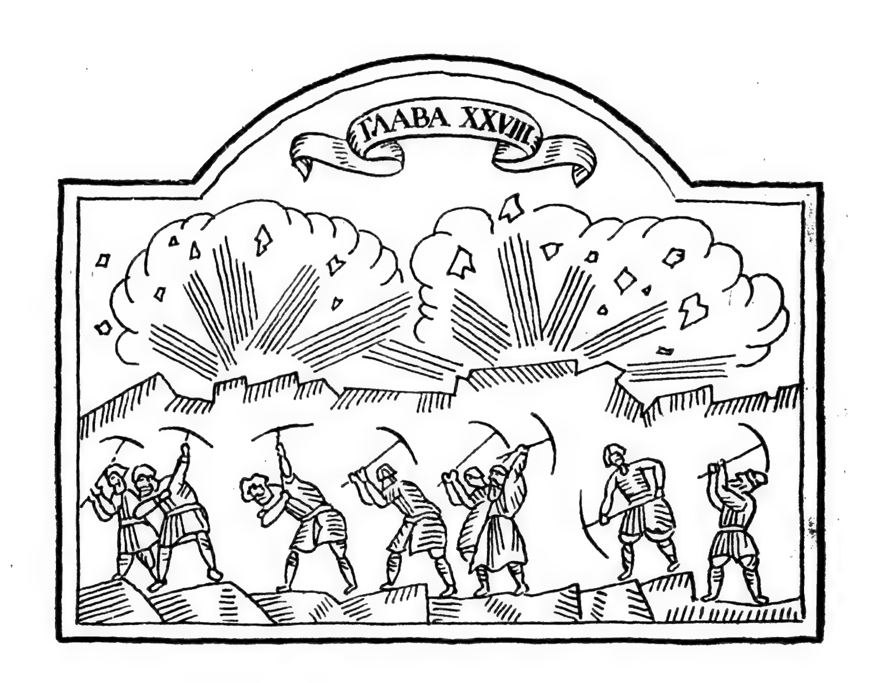
В палатке канального маркитанта, кроме кипятка и хлеба, засохшего до несокрушимой твердости, ничего не нашлось. Гавриил Андреевич размачивал сухари, и ему казалось, что за всю свою жизнь он не едал вкуснее...

От Захара в Назию приходили добрые известия. Каждый вечер он сам привозил дневной рапорт. Позже, когда землекопы вышли на десятую версту, присылал из-под Липок коротенькие записки с нарочным: столько-то земли вынуто, столько-то воды выкачано.

С двенадцатой версты светлой ночью Смирной примчался самолично. Разыскал Резанова. Осаживая коня, с седла крикнул ему:

— Под лопатами — ядреный камень. Что делать?

С этой ночи Гавриил Андреевич надолго поселился в деревне Липки.



О КАМЕННОЙ ЗЕМЛЕ ПОД ЛИПКАМИ

Никогда еще строители не встречали такую густо начиненную камнями землю. Обогнуть ее, покривив русло, было невозможно. Гранитная подстилка тянулась слишком длинной полосой. Только и оставалось — рубить.

Многим землекопам казалось — не пробиться сквозь такую толщу. Тогда Захар взял в руки кайло. Он работал впереди своей артели. К концу дня сказал Резанову:

— Камень одолеть трудно. Однако можно.

Люди мельчили гранит ломами. Калили огнем. Труд был непомерно тяжелым, мозоли набухали кровавыми пузырями, и кожа начисто сходила с ладоней.

Вершками, много если аршинами, меряли проходку.

К концу дня землекопы валились без сил. Они бросали лопаты, говорили — никто не заставит их подняться, чтобы

воевать с этим распроклятым камнем, жестоко ругали Смирного.

Он упрашивал вконец измученных парней хоть еще разок спуститься в русло, поработать кайлом. Его не хотели слушать. Захар скрипел зубами, хватал первый попавшийся лом и один врубался в камень. Из-под острия вместе со щебнем летели искры, обжигали руки, лицо.

Захар работал остервенело, до холодного пота, из последних сил. Но замечал, что рядом, тяжело переводя дыхание, проклиная все на свете, рубят двое — трое, а там и десяток его парней...

Запомнят же землекопы каменную гряду у Липок! Стояла она стеной. Не пускала вперед. Хоть разбейся о нее.

Так дело шло, а вернее сказать, не шло до тех пор, пока не появилось решение неожиданное.

Гранитную толщу землекопы в разговоре между собою называли «вражиной». И Захар также твердил злое это слово. Оно, будто заноза, беспокоило Смирного, не давало сомкнуть глаза даже в усталости.

Вражина! Если это так, то врага надо вынудить к отступлению, переведаться с ним на воинский манер.

Припомнилось, что в Шлиссельбургском посаде на берегу высится полусобранная стенобойная махина. Доставлена она была сюда много лет назад, еще в пору войны, и сейчас лежала опрокинутая, никому не нужная.

Два дня потребовалось Захару, чтобы на десятке подвод перекинуть махину в Липки и там снова собрать ее.

Но, как и следовало ждать, окованное железом дубовое бревно било в сторону. Смирной вместе со своими землекопами две ночи подряд переделывал снасти. Для примера плели бечеву. Потом, когда канаты легли на блоки, могучее бревно с грохотом опустилось вниз, ударило по граниту.

Со стенобойкой работа пошла быстрее. Через неделю Захар решил, что хоть махина и умножила во много раз человеческую силу, но этого мало. Надо камень рвать порохом — так-то вернее.

Пороху в посаде не занимать. Неподалеку от того места, где недавно стояла стенобойка, был врыт в землю большой «зелейный магазейн». Да вот беда — если махина стояла без надзора, то порох охраняла инвалидная команда.

Смирной упросил Резанова послать в Питер, в фельдцейхмейстерскую контору требование на выдачу пороха. Но вре-

мя шло, а ответа не предвиделось. Обычная чиновничья канитель, которая могла тянуться неделями, месяцами.

Каждый день Захар приходил к Гавриилу Андреевичу, и всякий раз слышал одно и то же:

— Из Питера ничего нет.

Что делать, неведомо. Размышляли о том не только инженер да кондуктор, но и землекопы.

Однажды утром, придя на русло, Смирной вдруг заметил приваленный к стволу дерева большущий кожаный мешок — в таких мешках обычно хранится порох. Но Захар усомнился. Быстро сорвал веревку — из горловины на ладонь посыпался угольно-черный порох.

Откуда он тут взялся? Этот вопрос кондуктор задал землекопам. Несколько человек ответили:

— Егор привез.

— Да откуда?

— Вот он сам идет, у него и спроси.

Шеметов долго острил кайло. Ответил не сразу:

— Чего ты зенки вылупил? Ну, действительно, я привез.

— Где ты взял этот мешок?

— В магазейне, где же еще.

— Кто дал тебе порох?

— Сторож дал. Я попросил, он и говорит: «Бери, не жалко».

Захар онемел. Шеметов молчание приятеля счел одобрением и принялся объяснять подробно и даже хвастливо:

— Понимаешь, в будке, при пороховых мешках, сидел старичина, клевал носом. Я насыпал ему из рожка табачку. Потом налил из полуштофа. Он и всего-то глотнул раза два. Заснул, как малое дитятко...

Захар все еще не мог выдавить из себя ни слова. Егор так же невозмутимо продолжал:

— Да там столько пороху, что никто и не заметит! — Лишь сейчас Шеметов вгляделся в искаженное гневом лицо Смирного. — А я-то думал, ты порадуешься... Версты две мешок на себе тащил, хорошо еще, наша канавская подвода встретилась... Ну, сам посуди, чего ждать, когда питерские писаря раскачаются. Денечки ведь уходят. Давай рванем!

— Я тебе рвану! — прикрикнул Смирной, сжимая кулаки. — Без меня порох не трогать.

Захар успел еще услышать, как Егор, в поисках сочувствия, говорил озадаченным землекопам:

— Как произвели в кондуктора, совсем соображать перестал...

Гавриил Андреевич, узнав от своего помощника историю порохового мешка, схватился за голову.

— Пропал наш Егор... Это же — военный суд. Хорошо, пошлют на галеры. А если...

Тут уж нечем было помочь горю. Решили переждать ночь. Утром писать рапорт.

Но, видно, счастливая звезда светила в эту ночь Егору Шеметову. На рассвете прикатила почтовая тройка. Резанов взломал сургучные печати на пакете из фельдцейхмейстерской конторы. Вычурной скорописью сообщалось, что господин механик имеет право по сему отпуску получить из Невского магазейна порох для канальных нужд.

Гавриил Андреевич сразу повеселел. Он распорядился, чтобы запрягали лошадей и ехали за порохом. Сам вместе с Захаром помчался на русло.

Возчики еще переругивались с медлительными инвалидами при Невском магазейне, а в Липках уже долбили глубокие шпуры в гранитной толще. Укрытые парусиной телеги только-только выехали на Ладожский большак, когда над Липками с грохотом поднялось черное облако и опало, разбрасывая комья земли и куски раздробленного камня.

Никому и в голову не пришло разбираться, как могло случиться, что на канале взорвали гранит, прежде чем привезли порох.

За первым взрывом громыхнул второй. Эхо раскатилось далеко по окрестным лесам. Гавриил Андреевич сам размечал места для шпуров и показывал, как напитать бечеву горючей смесью.

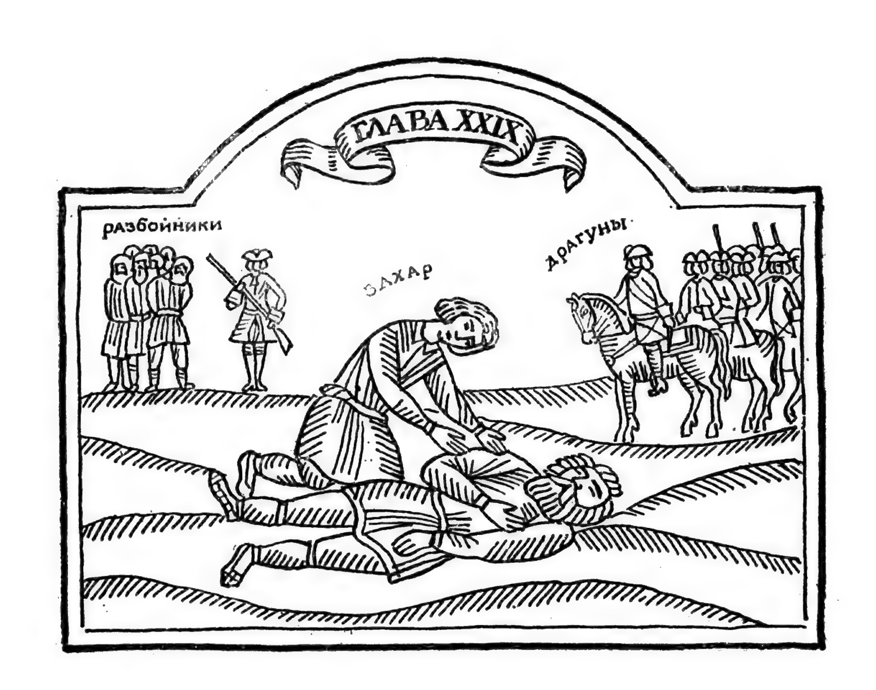
Егор выговорил себе право набивать порохом долбленые дыры. Делал он это неторопливо. Последним уходил с канавы, перед тем как огненная змейка начинала свой бег к зарядам.

Захару он сказал важно:

— Вот видишь, все правильно, все как надо.

Кажется, Шеметов так и не понял, что миновавшие сутки могли круто повернуть его судьбу...

Землекопы кондуктора Смирного радовались. Каменная гряда осталась позади. Теперь снова можно было продвигаться верстовыми шагами.



О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЛЮДВИГОМ

Механик Резанов настойчиво пытался уяснить смысл событий, происходивших на канале.

Лето и осень 1729 года были, пожалуй, самыми успешными с начала строительства. Хотя, казалось, все складывалось далеко не в его пользу.

Миних в это время на Ладоге появлялся нечасто. У него — дела поважнее канальных. Он ковал свое собственное головокружительное счастье при дворе.

Кто же вел строительство? Людвиг? Конечно, нет. Грубый, ненавистный всем, он только и умел без толку кричать и размахивать кулаками.

О себе Резанов также не мог сказать, что управляет всеми делами. Он работал, отдавая без остатка свои знания, свое умение. Но этого, разумеется, было слишком мало, чтобы двигать такое огромное строительство.

Не в том ли разгадка, что у всего, столь мудро и горячо задуманного Петром, была своя, «самодвижущая» сила? Но сколько его великих замыслов так и не дали всходов?

Иногда Гавриилу Андреевичу казалось, что и в самом деле на канале все идет «само собой». Запущена громоздкая тысячесильная машина. И она уже не остановится, пока не достигнет конечного результата.

Какая же это «машина»? У нее живое тело, живой ум, тысячи рук.

Тогда, может быть, дело просто в том, что Большой канал кровно, жизненно нужен России? И люди понимают это. И никто не остановится, пока вода не затопит последнюю версту русла. Не в этом ли заключена «самодвижущая», возможно, иногда безотчетная сила всего, что делается на канале?

Резанов улыбнулся при мысли о том, что такой вот Егор Шеметов, клейменный и бесшабашный, никого и ничего не боящийся, способен оценивать свои поступки. А почему — нет? Разве он приволок мешок с порохом из одной только удали?

Вот ведь какая укоренилась привычка: отказывать простым людям в умении думать. Будто бы свойство это дается лишь табелью о рангах. Обычное наше барство? А не холопство ли?..

Интересно, что сказал бы обо всем этом парижский однокашник и несчастливый друг? Гавриил Андреевич в последнее время отчего-то особенно остро сознавал его отсутствие. Было такое чувство, словно вместе с ним где-то за горизонтом навсегда исчезла юность...

Возмужание и зрелость невесело чувствовались только бесконечными заботами и тревожными вопросами, над которыми в молодости не очень задумываешься.

Подобные мысли одолевали механика лишь в редкие часы отдыха, в тишине ладожского подворья. Таких часов становилось все меньше, работы — больше. Жизнь проходила в окриках, ругани, там, на канальной линии.

На этой линии жил шумливый канавский поселок. В его облике много было от простой деревни. На запыленной траве возилась голопузая ребятня. Шли молодки с ведрами, только не к колодцу, а к озеру. Судачили бабы у плетней. И жила деревня землей. Но не засеянной, а вскопанной.

Главное же и необыкновенное состояло в том, что поселок

кочевал. Никто не устраивал здесь свое жилье надолго. Поселок двигался. Начинался он на волховском устье, возле Новой Ладоги. Теперь постепенно приближался к невскому истоку.

У кочевого селения были свои заботы, беды и пересуды, которые по-разному волновали всех. В те осенние, неспокойные дни весь канал, от землянок и шалашей до чадных кузниц и мастерских, облетели странные слухи.

Как-то утром в землянку на самой окраине кто-то постучался. В землянке были одни бабы и ребятишки. Изнутри ответили, что сейчас откроют. Но в дверь все стучали и стучали.

Пожилая хозяйка, откинув затвор, увидела человека, что-то невнятно и жалобно бормотавшего. Он был в одном исподнем, дрожал и держался за косяк, чтобы не упасть.

Хозяйка еще более удивилась, когда разглядела перепачканное грязью лицо. Это был сам господин майор Людвиг. Но в каком виде!

После полуночи в Липки примчался крытый экипаж из новоладожской управы, с конвоем. Людвиг, лежа, скорчился на широком кожаном сиденье, укрылся полостью.

Через несколько дней из Петербурга на одномастых вороных конях прискакал драгунский эскадрон. Не задерживаясь в поселке, он развернулся цепью и углубился в лес.

Канавские не долго гадали, какая связь между происшествием с господином управителем (такое звание он получил на время отсутствия генерала) и питерскими драгунами. Очень скоро все в точности разъяснилось.

Началось с того, что Людвиг не сразу появился на канаве. А появившись, избегал садиться, даже отдавая распоряжения, даже в управе, где в его присутствии все замирали по стойке «смирно». Дело в том, что какое-то время господин канальный управитель не имел возможности сидеть.

Произошло это по причине его болезни. А болезнь приключилась в тот день, когда он в одних подштанниках перешагнул порог землянки в Липках.

За какой-нибудь час до этого на новоладожской дороге на Людвига, спешившего по неотложным делам, напали неизвестные люди. Они стащили его с седла. И без каких-либо объяснений выпороли. Быстро и деловито, без издевательства, но основательно. Потом сказали, что он может убираться. Пешочком.

Канавские судили-рядили по поводу происшествия. Неизвестные, напавшие на Людвига, не были такими уж неизвестными.

Давно уже в межозерье наводила страх на проезжих, особенно богатеньких, разбойная ватага. Она появлялась то в одном месте, то в другом и быстро исчезала. Недавно еще была в Выгозере, а теперь пошаливала на ладожском побережье.

Всему этому канавские не особенно дивились. Не первая ватага в краю. Большая дорога без удалых молодцов не живет.

Но эта ватага по многим приметам — особая. Дознались, что в ней — беглые работные с канала. На кровавый разбой она не шла, по малости добывала себе пропитание, убийств за ней не водилось. Ее терпели. Тем более, что к зиме ватага выходила из леса где-нибудь в другом уезде.

Теперь же у майора Людвига терпение окончилось разом. Он отправлял в столицу эстафету за эстафетой. Требовал немедленной присылки солдат. Требовал беспощадной расправы с лесной ватагой. Грозил остановкой всех работ на канале...

Драгуны нашли в лесу только глухого старика — бортника. Его притащили в Липки вместе со всем немудреным хозяйством: крюком на веревке, с помощью которого он поднимался к медвяным дуплам, сосновым ковшом-корцом и жестяным дымарем — отгонять пчел.

Сам майор допрашивал бортника. Он должен знать, где разбойники. Какие это таинственные знаки у него выцарапаны на куске бересты? Старик простодушно и словоохотливо толковал, что тут никакой нет таинственности, а только — его особливые знаки, оберегающие борть: это вот локотки, а это — калита.

Людвиг в сердцах потаскал старика за седую бороду. Велел посадить его на цепь. Не давать ни хлеба, ни воды, пока не скажет, где ватага.

И снова эстафета летит в Петербург. На подмогу первому отряду драгунов спешит второй.

Вскоре драгуны притащили в поселок Ивана Круглого. Его схватили прямо на дороге и доставили к Людвигу. Работные потихоньку уже начали посмеиваться над неудачной облавой.

Круглой же именно к Людвигу и ехал, с нижайшей просьбой скитского настоятеля. Нынче урожай на полях побило градом. В закромах пусто. Как на беду, тюлени в озере по-

рвали мережи, часть рыбы поели, остальную выпустили. Нечем платить канальную подать. Пусть господин майор смилуется, скостит недоимку...

Управителю было сейчас не до раскольников. Драгуны в который раз сызнова начали облаву, уехали в лес и словно сгинули в нем.

На четвертый день с дальних пожен донеслась стрельба. Не смолкала она до вечера.

К утру же в поселок привели ватажников. Шли они со связанными руками, босиком, в порванных рубахах. Низко кланялись на все стороны. Иные падали на колени. Просили у мира прощения. Драгуны, свесясь с седел, хватали их за шиворот, ставили на ноги.

Бабы выносили «несчастненьким» хлеб, поили их водой из ведер. Лили слезы над людским злосчастьем.

Людвиг ликовал. Вышел с плетью встречать пойманных. Бил наотмашь. У тех только голова моталась.

Ватажников в Липках не оставили. Валили их на подводы и везли в Петербург.

Последним из леса выехал офицер, командовавший драгунами. Впереди седла, почти на холке лошади, мешком лежал убитый главарь ватаги. Он живым не дался...

Офицер у околицы развернул коня, сбросил труп и поехал дальше.

Над убитым опасливо и безмолвно собралась толпа работных с канавы.

Из любопытства подошел Иван Круглой. Огромного роста человек лежал навзничь, разметав руки. Иван наклонился над ним и вдруг попятился, быстро-быстро крестясь.

— Отец Аггей! — закричал он белыми от ужаса губами.— Отец Аггей! Как же так? Наваждение!

В толпе Захар Смирной услышал имя староверского затворника. Захотел взглянуть на него. Подошел. Увидел намокшую кровью разорванную рубаху. Кровь уже подсохла, приметен был протянувшийся во всю широкую грудь давнишний сабельный рубец. И поверх него — медный крест. По зеленому тесемчатому гайтану Захар узнал свой собственный, обмененный, тельный крест.

— Василий! — чуть не завопил Смирной.

Он опустился на колени, закрыл глаза убитого, смотревшие в серое, затянутое тучами небо, сложил на груди непокорные, уже начавшие костенеть, бессильные руки.

— Брат мой, — чуть слышно прошептал Захар, — так вот ты где, вот на какую дорожку свернул...

Захар поднялся, пошел прочь, а перед глазами все стоял солдат-богатырь.

Какая судьба! Не видел человек воли в родимой деревне, пошел добывать ее в полку. Нашел там батоги, людвиговскую «зеленую улицу». Искал правду-волюшку в староверской пустыне, потом в лесной ватаге, кажется, в той и в другой в одно время...

Отыскал ли заветное?

Только сейчас, мертвый, он был никому неподвластен. Безрадостная, горькая воля глянула ему в неживые очи [1].

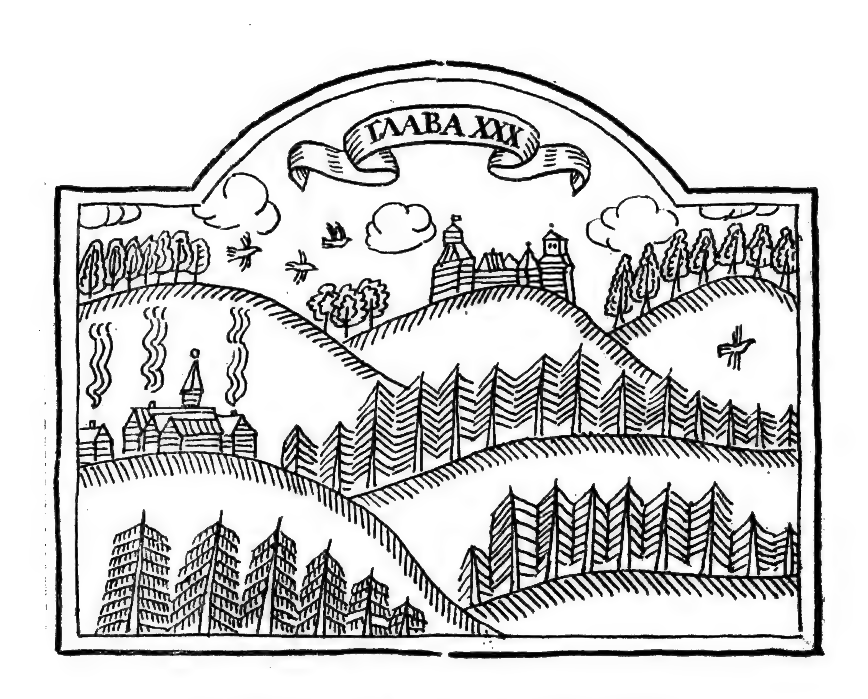
Смирной спешил, он почти бежал от околицы, где на поблеклой, колючей траве лежал его потерянный и так страшно найденный названый брат.

---

[1] В журнале Верховного Тайного совета за 1729 год подробно приведена непередаваемо тяжкая история беглого солдата Василия Иванова. (В повести рассказана только часть ее.)

Он уходил из полка многократно. За это «был пытан трижды». Его «гоняли спицрутен через целый полк» девять раз.

Василий Иванов водил ватаги также в Нижегородском уезде, в Муроме, во Владимирской слободе.



О СИБИРСКИХ ЗЛОКЛЮЧЕНИЯХ ЧЕРНОГО ИНЖЕНЕРА

(Документы)

Морозным днем механик Резанов возвращался из Петербурга в свое ладожское подворье. Тяжелые белые подушки лежали на ветвях придорожных елок.

Накануне весь день Гавриил Андреевич провел на Васильевском острове, в доме Миниха. Генерал передал ему чертежи последних шлюзов. Эти шлюзы предстояло построить при выходе из Большого канала в Неву и в Новой Ладоге, при входе в канал.

Христофора Антоновича было трудно узнать. Механик привык его видеть на работах, в плаще поверх шинели, а то и в аккуратном, но довольно поношенном камзоле. Сапоги его частенько бывали заляпаны глиной. Вполне обычный вид инженера, ведущего земляное строительство.

В своих городских аппартаментах это был совершенно иной человек. Высокие напудренные букли. Надменное лицо. Орденское золото на мундире. Сверкание алмазов в дорогих кольцах. Уверенные жесты вельможи, сознающего свою значительность.

Миних передал Резанову чертежи вместе с короткими и отчетливыми указаниями: на каком фундаменте закладывать шлюзы, каким камнем отделывать камеры. Когда описывал будущие воротные механизмы, увлекся, стал чертить эскизы. На пальцах остались чернильные следы. Во взгляде мелькнуло что-то от хорошо знакомого канального генерала. Но очень скоро возбуждение улеглось. Глаза, как ледком, затянуло холодное безразличие.

Мелодично прозвенели часы из литой бронзы. Миних всполошился:

— Что же это я засиделся с вами, Гавриил Андреевич. Меня ждут во дворце. Еду докладывать императрице церемониал зимней охоты... Скорей — одеваться!..

Да, да, на российском троне был уже не император, а императрица.

Всего несколько месяцев назад над первопрестольной Москвой плыл колокольный звон. Со всей России съезжалось родовитое, знатное боярство на свадьбу Петра Второго и Екатерины Долгорукой.

Ехали на свадьбу, а поспели на похороны. Пятнадцатилетний жених внезапно, в одни сутки, умер от черной оспы.

Бояре судили, кому вручить державу и скипетр. Спешно отправили послов в Курляндию. Там жила полузабытая царевна Анна, дочь Ивана Алексеевича, родного брата Петра Великого.

Когда-то Петр второпях выдал ее за герцога Курляндского. Она рано овдовела. Мудрствовать не любила, строптивости не оказывала. При ней боярству будет вольготно — править станет из-под их руки.

Вот так воцарилась Анна.

Бесконечно ловкий Миних, кавалер галантный, и при ней сумел сделаться необходимейшим человеком...

Он спешил, он опаздывал во дворец.

В генеральских покоях началась суета. Поспешная беготня слуг. Громкие оклики. Камердинер нес на вытянутых руках соболью шубу. Адъютант пристегивал к поясу Миниха шпагу с крупными рубинами на эфесе.

С улицы доносился истошный крик кучера, подкатившего четверню цугом к подъезду.

Уже из кареты Миних сказал механику:

— На закладку фундамента непременно буду... Без меня не начинайте...

Сейчас Резанову все припомнилось, как что-то никчемное, беспокойно мелькающее. Он досадливо отмахнулся от этого воспоминания, да и от самого Миниха-царедворца.

Пачка с чертежами шлюзов, завернутая в полотно, лежала на дне саней.

Мысли Гавриила Андреевича были совсем о другом. Под шинелью, на груди покоился зеленый сафьяновый портфельчик. Резанов то и дело совал руку в отвороты шинели, трогал портфельчик — на месте ли.

Вчера прямо от Миниха механик поехал на невскую набережную к члену Военной коллегии Пашкову; он приходился ему дальним родичем. Резанов знал, что только у него он может что-либо проведать о сибирском изгнаннике.

В доме Пашкова все было перевернуто вверх дном, заколачивали ящики, завязывали корзины.

— Как ты кстати, — обрадовался Пашков Гавриилу Андреевичу, — я уж собирался разыскивать тебя.

С этими словами он увел Резанова в кабинет. Достал из ящика стола зеленый портфель и отдал его Гавриилу Андреевичу.

— Сохрани... Время сейчас смутное, неопределенное. Не понять, кто в фаворе, кто в немилости... Я еду в свою подмосковную. Что будет потом, не знаю... Нельзя, чтобы эти бумаги попали в чужие руки. Так помни же — сохрани...

Бегло заглянув в портфель, канальный механик понял только одно — это связано с именем и судьбой Абрама Петрова.

В ладожское подворье сани въехали поздно ночью. Сильно вьюжило. С озера задувал ледяной ветер. Он бросал звонкие пригоршни снега в окна, что-то невнятное выпевал в печных трубах.

В комнате, где, кажется, стало еще больше книг — под ними прогибались полки в шкафах, — Гавриил Андреевич зажег свечи. Раскрыл пашковский зеленый портфель.

Здесь были письма черного инженера к княгине Аграфене Волконской — с нею одной поддерживал он переписку в эти годы. Здесь же собраны отпуска — писарские копии с указов,

относящихся к опальному «арапу». Пашков и его друзья подготавливали ходатайство о помиловании крестника Петра Великого.

Резанов читал увлеченно. Никакое повествование не могло бы ему заменить этих безыскусственных строк. Он видел своего друга в далекой сибирской тайге.

Вот указ Абраму Петрову, догнавший его в Казани. Этим указом начался тернистый путь черного инженера.

«От мая 1727 года. Его императорское величество указал тебе ехать в Тобольск... и построить крепость против сочиненного чертежа... того ради указом его императорского величества предлагаем — изволь туда ехать без всякого замедления, понеже в строении той крепости состоит необходимая нужда, а чертеж пошлется вам на предбудущей почте...»

И тут же — письмо Петрова Волконской из Казани. Это писал человек, ошеломленный своим несчастьем, но готовый мужественно противостоять ему.

«Сего числа в Сибирь, в город Тобольск отъезжаю. Может быть, еще там получу третий ордер, куда далее ехать, как изволят, я всюду готов ехать без всякой печали, кроме того, что меня лишили моих друзей, а что без всякой вины тому радуюся... Пожалуй, государыня моя, не оставь меня в своей милости... понеже, может быть, что я в последнее имею честь к вам писать, что меня зашлют в какие пустые места, чтоб там уморить... Особливо вас прошу, как возможно, чтобы послать как ни есть копию с указа, приложенного при сем нашему Колокольчику или к Разговору Ивановичу...»

В дружеском кругу существовали клички. Кто такой Колокольчик, Гавриил Андреевич не знал. А Разговор Иванович — это Пашков...

Какой же дорогой ехал сосланный «арап» в Сибирь? Через Владимир на Муром, от Волги к Уральскому хребту. Путь этот должен был занять не один месяц.

В ноябре того же года сибирский губернатор докладывал в Петербург:

«По указу вашего императорского величества велено от бомбардир-поручику Абраму Петрову сделать на китайской границе против чертежа крепость, того ради, когда он в Тобольск прибудет, велено его туда отправить немедленно, а понеже он человек иностранный и опасно, чтоб не ушел за границу, велено иметь за ним крепкий присмотр. И по тому его, князя Меншикова письму, от бомбардир-поручик Петров при-

был в Тобольск июля 30-го, и на китайскую границу отправлен августа 3-го числа».

Черный инженер переправлялся через замерзший Байкал в Селенгу. Он совсем обезденежел, так как в указе забыли написать, кто должен платить ему жалование. Петров «умирал голодной смертью».

К этому времени Меншиков сам уже был сослан в Сибирь. Но баловни петербургской фортуны опасались каждого влиятельного человека при дворе. Питомец «гнезда Петра Великого» опасен для них. Пусть-ка он подольше поживет вдалеке. Под присмотром строжайшим.

«Арап» шлет Волконской отчаянное письмо:

«Лучше на себя сам руку наложить, нежели пропадать напрасленном в правде...»

В крайней нужде, в стуже, в горьком одиночестве он строит крепость на восточной окраине России. Снова и снова тучи сгущаются над его головой.

Указ Верховного Тайного совета сибирскому губернатору. От декабря 1729 года:

«Повелеть, выбрав в Тобольске кого из офицеров, доброго и искусного человека, отправить тайным образом на китайскую границу, где ныне обретается... поручик Авраам Петров, и приказать тому посланному офицеру... пришед к нему в квартиру внезапно, отобрать все обретающиеся при нем письма, которые хотя бы в каких малых и черных лоскутках были, и собрав все оные в одно место, запечатать и к себе взять...»

Бедный, бедный «арап»! Что он должен был пережить в жестоком и беспричинном изгнании?

Вот только нынче, кажется, чуть затеплилась слабая надежда.

Указ Анны. Февраль 1730 года:

«От бомбардир-поручику Аврааму Петрову быть в Тобольском гарнизоне майором, и для того буде он... послан в Томск за караулом, оттуда его возвратить и из-за караула освободить».

Но что же это? Милость или наказание? Он уже не в гвардии, куда его определил крестный отец, он армейский офицер Тобольского гарнизона...

Гавриил Андреевич закрыл зеленый портфельчик в полном душевном сокрушении.

— Друг мой, друг мой! — почти выкрикнул Резанов.

Чувство опасности и полной беспомощности было таким

сильным, что Гавриил Андреевич себе места не находил. Бросился к полкам, нашел когда-то подаренный ему «арапом» Брюсов календарь с забавной и трогательной надписью. В ней говорилось о том, чтобы звезды предсказывали им обоим только доброе в жизни.

Резанову показалось, будто он слышит голос черного инженера. Доведется ли когда-нибудь въявь услышать его гортанную речь, увидеть сверкание черных глаз?..

Свеча догорела до основания и залила воском медный подсвечник. Гавриил Андреевич потянулся погасить чадящий фитиль. И только в это мгновение заметил, что на окнах трепещут багровые отсветы.

Пожар? Где? Неужели занялись мастерские или склады на канале?

Механик выбежал на крыльцо. И замер, потрясенный красотой невиданного зрелища.

Над белой, занесенной снегами землей горели огромные переменчивые всполохи. Словно высоко в небе развесили цветастые огненные полотна. Красные, всех оттенков, синие, зеленые, они бушевали над странно притихшим миром. Лишь из лесу временами доносился тревожный рев зверей, разбуженных в неурочный час.

Резанов знал, что северное сияние — нередкий гость в межозерном краю. Но обычно оно светилось слабо, его не всегда и замечали. Таких ярких, торжествующих переливов не бывало.

Запрокинув лицо, Гавриил Андреевич смотрел в небеса, будто спрашивая у них: как же это на земле уживаются рядом такое прекрасное — ты задыхаешься от счастья, что дожил до этого мига, — и горе людское, при мысли о котором не хочется жить...

Канальный механик накинул на плечи шубу и простоял на крыльце до тех пор, пока краски северного сияния не начали меркнуть.

Сон отогнало от глаз. Остаток ночи Резанов просидел над миниховскими чертежами шлюзов.



О МИЛЛИОНАХ И ГРОШАХ

За Липками начиналась девяносто пятая верста Большого канала. Оставалось пройти еще десять верст. Последние десять верст!

Вероятно, это были, если включить сюда и липскую гряду, самые трудные версты с начала строительства. То и дело приходилось оставлять лопаты и браться за ломы. Скальная порода встречалась повсеместно. Из русла, кювета, водоспусков предстояло поднять целые горы земли, более ста тысяч кубических сажен.

Барки и прочие суда плыли в озеро через шлюз уже не в Кобоне, а в Назии. Строители должны были все время иметь в виду скорейшее открытие судоходства.

У шлюзовых ворот разгорались непрестанные раздоры. Шкиперы гальотов, тялок, сойм теперь позабывали сказать спасибо канавским мастерам за спокойный путь по готовому

руслу. Зато свирепоругали их за те версты, которые оставалось пройти бурной Ладогой...

Медленно и упорно двигались вперед канавские. На каждой версте ставились мурованные шандоры для спуска вод. Это — в предвидении будущих починок «без большого кошта и опасности».

Ближе к лету начали возводить шлюзы на Неве и в Новой Ладоге. К закладке фундаментов Миних не поспел. Но вскоре прикатил в Шлиссельбург на взмыленных лошадях — осмотреть работы.

Направился сразу к ямам, где забивали сваи. Резанов, посмеиваясь, глядел на генерала, который за минувшую зиму, основательно привыкнув к дворцовым зеркальным паркетам, ходил по перекопанной земле, как голенастый журавль, забавно вытягивая ноги.

Хорошо хоть оставил в Питере букли, мундир и туфли с бантами. Надел юфтяные сапоги.

Гавриил Андреевич ждал, скоро ли генерал влезет в свою «инженерскую шкуру». Действительно, не прошло и часа, как Христофор Антонович велел, чтобы ему принесли его обычный плащ-разлетайку, и полез в ямину щупать короба, проверять, крепки ли сваи.

Еще через час он уже с помощью смешанного русско-немецкого лексикона орал на камнетесцев, слишком крупно дробивших щебенку. Велел Резанову не уходить с ямин, пока не укрепят опорные ряжи.

Миних окликнул спешившего к строителям Гавриила Андреевича и сказал, что сегодня до Леднева не доберется, будет ночевать у него на подворье.

— Надеюсь, в вашем обиталище клопов нет? — с сомнением спросил генерал.

Механику стало весело при мысли о том, как изумится Миних, увидев его жилье, которое по виду мало чем отличалось от обыкновенной крестьянской хаты.

Но удивляться пришлось Резанову.

Миних приехал на подворье ночью. Посетовал, что нет рома к чаю. Сбросил в сенях плащ. Сел поближе к самовару. И без всяких пояснений подал Гавриилу Андреевичу небольшой лист бумаги. Лист был твердый, с большой дворцовой печатью.

Резанов прочел:

«Лейб-гвардии от бомбардир-поручика Абрама Петрова,

которому велено быть в Тобольском гарнизоне майором, послать в команду графа фон Минихена, а ему определить его в Пернове к инженерным и фортификационным делам».

Под указом была размашистая подпись императрицы Анны.

Миних произнес не без торжественности:

— Судьба нашего друга принимает добрый оборот... А вы вот пожалели для меня бутылку рома. — Генерал расхохотался, посмотрел на растерявшегося механика и закончил деловито: — Сейчас же снимите отпуск, на рассвете фельдъегерь отправляется в Тобольск.

Гавриил Андреевич переписал указ. Бережно положил копию в зеленый портфель. Пусть бы на том кончились бедствия сибирского изгоя. Горечь своего мученичества испил он полной чашей...

Механик взглянул на Миниха, наслаждавшегося душистым чаем. Наверно, впервые Резанов заметил, что канальный генерал умеет располагать к себе людей действительным ли, показным ли благодушием, дружелюбной шуткой.

То, что указ был написан по настоянию самого «фон Минихена», не вызывало сомнений. Генералу нужны хорошие инженеры. Зачем же им пропадать втуне, где-то в Сибири?..

Все эти месяцы Резанову работалось удачливо, как никогда. Он заметно приободрился. Аким Чертопрудов, наблюдавший за начальными работами на Невском шлюзе, удивленно посматривал на механика. А ему из какого-то суеверного чувства не хотелось ничего рассказывать. Боялся, не случилось бы каких перемен.

Теперь уже отчетливо видимое окончание канального строительства прибавило сил всей работной армии. Одолевали упрямый, каменистый грунт. Каждый шаг давался трудно, и все-таки делали этот шаг.

Вдруг произошло такое, что хоть останавливай прокладку русла на последних верстах. И тут уж не мог помочь ни Миних, ни сам господь бог.

Государственная казна оскудела наподобие прохудившегося рогожного мешка. Случилось это не так уж «вдруг», событие подготавливалось годами, всем ходом жизни на Руси.

На царском престоле сидела Анна, стареющая, большено-

сая, слегка рябая женщина. В душе она таила злобу за давнишнее небрежение к себе, за неудавшуюся смолоду жизнь.

Императрица Анна люто отомстила Верховному Тайному совету, «верховникам», которые вызвали ее на царство и собирались за ее спиной вершить судьбы государства. Она упразднила этот ненавистный совет. Кого казнила, кого заточила в тюремные казематы. Доносы о «слове и деле» посыпались в неслыханном изобилии. Двадцать тысяч обвиненных были отправлены в ссылку.

Анна окружала себя шутами и шутихами. Она загоняла лошадей на охоте. Любила травить зверя. А еще больше любила крупную карточную игру.

В российской истории те годы помечены именем не императрицы, а ее любимца. Бироновское лихолетье.

Оберкамергера Эрнста Иоганна Бирона привезла Анна из Курляндии. Это был человек с темным прошлым, дерзкий, гневливый, жестокий. За чинами и славой он не особенно гнался. Слыл отличным знатоком конских статей. Других достоинств за ним не водилось.

Все русское Бирон ненавидел. Мужиков презирал. При случайной встрече с простолюдинами обливал себя духами и все-таки пальцами долго крутил под носом. Чудился ему навозный дух.

К деньгам Бирон был жаден ненасытимо. Приобретал поместья за границей. За самый малый перстень на его волосатых, толстых пальцах мясника можно было купить село вместе с крестьянами.

Позже, когда у петербургских казначеев появилась возможность ознакомиться с богатствами Бирона, они насчитали четырнадцать миллионов рублей деньгами и драгоценностей— на столько же.

Жена оберкамергера на придворных праздниках сверкала бриллиантами. Анна подарила ей алмазов на два миллиона рублей.

Два миллиона! Почти столько же, сколько стоил весь Ладожский канал! Включая сюда цену машин, лицевого камня, леса. Плата работным — самый малый расход: они получали несколько копеек в день на человека.

Миллионы рублей летели на прихоти, на ветер. У работных гроша не было на кусок хлеба, посыпанный солью.

Такая вот получалась цифирь. Стоит ли при всем этом

дивиться уподоблению государской казны рогожному дырявому мешку.

Строительство Большого канала месяцами не получало денег. В Петербург летели тревожные донесения: «Ладожские землекопы работают взаймы», вовсе не получая платы. А тут еще вслед за Выгозерской пустынью и все староверские скиты, точно сговорились, перестали давать каналу хлеб, рыбу, всякую живность. Люди жили впроголодь.

Наконец наемщики-подрядчики вручили Миниху, за всеми подписями, сказку в несколько коротеньких строк. В сказке значилось:

«В слоевую земляную работу... вступать нынешним временем ни по какой мере невозможно, понеже за неполучением по многим ведомостям заработанных денег, содержать работных людей не можем».

Впору было на всей линии остановить работы. Замрут машины-водоливки. Начнут осыпаться незаконченные плотины, просядут берега. При первом же подъеме воды в реках и в озере неукрепленное русло зальет, размоет. Все сделанное погибнет.

Это казалось неизбежным.

Миних искал и не мог найти, чем помочь беде. Инженеры ничего не могли придумать.

Придумали сами работные. Да такое, что все межозерье удивили.

Надо знать, что канальные землекопы и прочие мастеровые были людьми гордыми. В обиду никому не давались. О себе говорили: «Мы, канавские!»

Куда им было уходить с «канавушки»? Снова — в барскую кабалу? Так уж помереть легче. К тому же за эти годы многие, как писалось в одном канальном рапорте, «не знают даже, кому принадлежат». Двинуться в лесную ватажку? На памяти был печальный конец Василия Иванова, его дружков. Да и совесть не велит.

В деревнях канавских недолюбливали. За неспокойный нрав, за горделивую независимость. И как же поразились там, увидев этих самых «мы канавских» под окнами, с холщовой христарадной сумой.

Мужики с канала пошли по ладожским деревням просить милостыню. Пока одни орудовали на своих местах лопатами и топорами, другие стучали в окна и с непривычки ли, от стыда ли не просили, а требовали:

— Подайте канавским на пропитание.

Пошел с сумой, несмотря на свое кондукторское звание, Акимушка. Ему подавали охотно — за убогость жалеючи. Пошел и Егор Шеметов. Землекопам, которые стыдились надевать суму, он сказал с ухмылкой:

— Голод не тетка. Не подыхать же, в самом деле...

Егору подавали милостыню с перепугу. Смотрел исподлобья, сердито. Такой и сам возьмет, что надо.

В деревнях кто злорадно посмеивался: «Нечего нос задирать, коль в брюхе пусто», кто сердобольно вздыхал: «Эка ведь как подвело бедолаг». Но подавали все: корочку хлебную, вяленую рыбешку, позавчерашними щами без соли (соль покупная!) покормят. В крестьянском обычае — помочь человеку в горький час.

О том в официальной бумаге холодная чиновничья рука выводила: «Канальные работные харчу и хлеба для прокормления ни от кого достать не могут и многие доныне по миру ходят и милостыни просят...»

А канал? Что же — канал? Он строился.



О ГАРИ БЕЗОГНЕННОЙ

На самом берегу Невы, в Шлиссельбурге, в огромной яме сооружали подошву выходного шлюза. Дело дотоле неопробованное.

По размаху, поистине петровскому, его можно сравнить разве только с великими работами первых лет Петербурга, такими, какие велись при закладке крупнейших зданий.

Тысячи канальных землекопов рыли яму под фундаменты, и получилась она такая, что если бы можно было опустить в нее самый большой столичный дом, то скрылся бы он вместе с трубами.

Теперь вступали в работы плотницкие артели.

Строилось устье Большого канала. Выходным шлюзом он заканчивался. Но для тех, кому предстояло плыть по новому руслу вверх, то было началом. Миних стремился с первых шагов ошеломить будущих знатных путешественников.

Крупные глыбы красного гранита уже лежали неподалеку, на разъезженной, заплывшей грязью земле. Над гранитом трудились со своими зубилами, камнетесцы. Непрестанные удары молотков сливались в сплошной звон. Руки и лица камнетесцев обмотаны тряпьем, и все же острые осколки резали кожу. По тряпью расплывались кровавые пятна.

Гранит готовился загодя. До цокольного ряда было еще далеко.

Миних создавал памятник самому себе. Это был первый в России шлюз по размерам, по отделке, по красоте.

Сначала собирались строить шлюз на две большие каменные камеры. Потом надумали добавить третью, деревянную. Дело заманчивое. Уже теперь ясно, что шлюзу, при всей его величине, нелегко будет пропускать поток прибывающих судов. Заторов не миновать. Третья камера пришлась бы кстати.

Аким Чертопрудов, которого прислали в Шлиссельбург, когда там еще землю копали, с первого взгляда понял, каким будет новый шлюз. У недавно пожалованного кондуктора дыхание захватило.

Работа с железом и камнем была ему несвычна, зато третья камера — по плечу.

Правда, споров тут было много. Долго ли простоят деревянные стенки? Не испортит ли такой простецкий «довесок» весь торжественный вид шлюза?

У горбатенького кондуктора нашлись ответы на все вопросы. Даже руки у него вздрагивали от нетерпения поскорее взяться за работу. В его разных — одном сером, другом светло-карем — глазах разгорались жадные огоньки.

— Что вы, — с достоинством возразил он Резанову, который напрямик выложил все свои сомнения, — ежели делать с настоящим разумсм, все будет преотлично. У деревато — своя потаенная красота, мы ее наружу выволокем. Гранит рядом с ним будет еще приглядистей.

— Ладно, — готов был согласиться механик, — но ты сам понимаешь: красота — дело второе. Главнейшее — не погниет ли в воде деревянная камера?

Аким проговорил не без укоризны:

— Первые-то меленки тут у нас, на Волхове, ставились, и плотины первые — ряжевые, езовые и всякие — тоже ладожские мужики строили... Повидали бы вы старые деревянные запруды на Кобоне, на Лаве-реке. Они до сей поры целехоньки, только каменеют от времени. Их топором пробовали

рубить, искрятся, не поддаются... Да мой же род лет эдак двести по плотинному делу мастачит!

Суть спора была спешно доложена Миниху. Тот, сверх ожидания, разрешил строить деревянную камеру. Правда, никому не объяснил причину своего скорого решения. А рассуждал канальный генерал так: видимая выгода стоит любой попытки. Если же не удастся, деревянные стены не долго сбить с фундамента.

С десятком крепких парней Акимушка начал поиски дерева для шлюзовых стенок. Как ни удивительно, искал не в лесу, а на озерном дне, у песчаных банок, где в недавние времена разбивались адмиралтейские плоты.

То был знаменитый казанский дуб — с ним по крепости равнялось только железо. Каждое такое бревно Акимушка укладывал на подпоры, сушил. Припав ухом, выстукивал, говорил: «Звону мало» — еще сушил. И по виду бревна были, как железные, черные, а местами бурой окраски.

Впервые Акимушка работал вдали от своих друзей, скучал по ним, хотя и знал — встреча не за горами.

На шлюзе в сумеречную пору выдавались часы, когда затихали удары копров, смолкал топоровый перестук.

В эти часы из-за лугов и поросших кустарником болот доносился едва внятный шум, почти сливавшийся с лесным. Это долетал гул водоливных насосов, многих тысяч кайл, дробящих крепкую землю. Вдруг гремел и нескоро замолкал взрыв.

Там землеройные артели Захара Смирного вели канал к Шлиссельбургу. Они поднимали грунт теперь уже в шести верстах от Невского шлюза.

В тихие часы Аким Чертопрудов вглядывался в синеющую кромку леса и думал: «Чего-то поделывают сейчас Захаровы ребята? Поди, дневные копальщики вернулись к кострам. А ночные только готовятся в русло спуститься...»

Если бы Акимушка мог знать, что случилось у Захаровых ребят как раз вот в такую сумеречную пору!

Тогда землекопы, оставив нетронутой двухсаженную перемычку, начали рыть последний перегон.

Захар из-под ладони удивленно смотрел на телегу, мчавшуюся по верхней дороге. Через несколько минут можно было разглядеть лошадь, закиданную пеной, и человека, стоявшего в телеге. Он бешено крутил вожжи над головой.

— Никак Арефий, — озадаченно проговорил Смирной.

То был и в самом деле ковач из Кивгоды.

— Мужики, — кричал он, натягивая вожжи, — мужики! Беда у нас!

Давно уже у канальных со скитскими назревала распря. Все как-то в одно слилось. Староверская братия отказалась давать съестные припасы на канаву. А когда начали верстать раскольников на копальные работы, а раскольниц — в портомойни и в поварни, поднялся великий вопль.

По скитам пошли питерские переписчики. Староверы не называли своих имен для «антихристовых ведомостей». Переписчиков гнали, а в иных местах поубивали.

Никто из пустынножителей не явился на канальную работу, угодную дьяволу с огненными глазами и дыханием смрадным. Повсюду продолжались исступленные молитвы, слезно просили, чтобы послал господь рати небесные на гонителей. И дал господь грозное предвестие.

После того как однажды запылало небо и всю-то ночь до утра стояли в нем высокие огни, скиты вдруг затихли. Странная это была тишина. От всего мира отделились замкнутыми воротами, высоким тыном.

В деревнях о том мало заботились. Богомольствуют двуперстые праведники. Не впервые. На канале же за вседневными хлопотами и того меньше раздумывали над скитским затишьем.

Приезд Арефия всех всколыхнул. Захар никогда не видел таким своего давнего наставника. Он вопил, хватал мужиков за руки, упрашивал:

— Езжайте в Кивгоду, скореича езжайте! Может, поспеете еще...

Ничего вразумительно объяснить не сумел. У многих землекопов в Кивгоде трудничали родственники. Захар же только и мог думать о Дарёнке. Что еще за напасть такая?

Несмотря на поздний час и ночную темень, канавские на десятке телег помчались по приозерной дороге. Арефий остался на канале: то ли занемог, то ли побоялся встречи с братией.

В первой телеге лошадьми правил Егор Шеметов. Смирной трясся на грядке и неотступно торопил его.

Далеко за полночь сменили лошадей в Низове и помчались дальше. К утру были в Кивгоде.

На стук в ворота никто не ответил. Егор взобрался на верею, спустился по ту сторону, скинул брус со скобы. На

дворе — ни единого человека. Страшная тревога охватила Захара.

Со своими парнями он поспешил к женскому скиту. Быстро сбили калитку с петель. И тут — безмолвие, безлюдье. Через сад побежали к моленной. Двери наглухо закрыты. Бросились к окнам. На них — туго приболченные ставни.

Изнутри донесся негромкий, ровный гул многих голосов. Землекопы принялись стучать. Никакого ответа. Только голоса стали будто погромче, отчетливей.

Шеметов плечом ударил в дверь. Раз и другой. Обе створки, оставаясь на запоре, рухнули вместе с косяком.

В полумраке моленной мерцали свечи. Ладанный дух спирал дыхание. Помещение было забито людьми. Все — в белых смертных рубахах. Многие молились на коленях, с тихим плачем. Никто не обернулся на стук упавшей двери, на шаги вошедших.

Теперь Захар знал, где надо искать остальных обитателей раскольничьей пустыньки.

— Егор, — окликнул он, — беги с ребятами в часовню на той половине, осмотрите самые большие избы. Ежели закрыты, ломайте. На окнах смолье ищите. Вот такое, — и смахнул с подоконника густо набросанную хвою вместе с комьями застывшей смолы.

Смирному почудилось — в душной моленной витает зловещая тень соловецкого дьякона Игнатия, его изуверского всесожжения.

Захар с трудом пробился к алтарю, едва освещенному лампадой. Пытался что-то объяснить молящимся. Его не слушали. Тогда он тоскливо позвал:

— Дарёнушка!

Никто не ответил. Со всех сторон неслось сбивчивое бормотание. Смирной кинулся в толпу. Поднимал стоявших на коленях, вглядывался в лица.

Дарью он нашел у стены, неподвижно распростертую на полу. Лицо было бледным, без кровинки, глаза плотно закрыты, губы закушены. Слишком сильное потрясение сломило ее.

Бережно вынес Дарёнку из моленной, закутал в армяк, положил у яблони — кажется, той самой, возле которой встретились когда-то, после долгой разлуки.

Землекопы вели через двор обезумевшего настоятеля. Седые волосы упали на вышедшие из орбит, дико сверкавшие глаза.

— Прочь, нечестивцы! — кричал он, потрясая худыми руками. — Прочь люциферовы слуги! Лучше смерть принять, чем служить дьяволу! Архангелы надысь небо зажгли — видели вы святой огонь, видели? То свету конец. Огненные письмена на тучах! Слышите, слышите — трубный глас. В пламени очистимся!

— Чего ж ты ругаешься? — старался усовестить его Шеметов.

Егора била дрожь. Кажется, он перепугался впервые в жизни. Подбежал к Захару:

— Что делать-то?

Смирной не слышал вопроса. Шеметов разглядел на земле запрокинутое девичье лицо. Тихо спросил:

— Она?

Но и тогда Смирной ничего не ответил.

Меж тем в скит валом валили люди. Слух о раскольничьей гари облетел соседние деревни.

Какая-то непреодолимая свинцовая усталость одолела Захара. Он долго набивал сеном телегу, долго и как-то безучастно укладывал и снова укутывал Дарёнку. Она не шевельнулась.

Захар под уздцы вывел лошадь со скитского двора. Все так же безмолвно, тихо. Будто все это делал не он, кто-то другой, а Захар видел со стороны.

После многих часов пути Смирной спросил себя:

— Куда же это я еду?

Оглядел знакомую дорогу, понял — едет на канаву, везет Дарью в Липки... Да как же так? Нельзя в Липки. Ведь Дарьюшка своей волей покинула его. Должна и вернуться своей волей...

Дернул вожжи, свернул на ледневский проселок.

В деревню приехал под вечер. На покосившееся крыльцо выбежала бабушка Степанида. Она совсем одряхлела, желтая кожа обтянула скулы. Но все такая же быстрая, суетливая. Подбежала к телеге, запричитала, слезы потекли по глубоким морщинам. Прикрикнула на Захара:

— Чего столбом стоишь? Помоги.

Внесли Дарью в дом, положили на бабкину кровать. Степанида Федоровна выгнала Захара из горницы. Он безропотно вышел.

В боковушке разглядел слабый свет под дверью. Приоткрыл ее. Иван Круглой, стоя на коленях, тяжко вздыхал, кре-

стился, бил поклоны. Увидев Смирного, вскочил. Но тотчас снова опустился, ноги не держали его.

Захар не испытывал злобы к Ивану, даже не спросил, почему он здесь, не в Выгозере. А спросить бы надо. Знал он о готовившейся гари в Кивгоде? Наверняка знал. Потому и сбежал. От гнева людского, от неизбежного следствия... Захар не задавал Круглому никаких вопросов. Все вдруг показалось мелким, ненужным перед лицом несчастья. Он без стука затворил дверь.

В сенях было темно. Смирной сел на порожек. Сколько времени он просидел так, с опущенной на руки головой, не знал, не помнил.

Вышла в сени Степанида Федоровна. Погремела ковшом в бадье, попила водицы. Села на порожек рядом. Долго молчали. В открытую дверь тянуло холодной, ненастной прелью. Невдалеке громоздились овины. Солома на крышах, прижатая жердями, казалась черной. Где-то прошелестел крыльями кожанок [1]. Деревья зашумели листвой под порывом ветра.

В этой тишине вдруг донеслось еле слышное:

— Захарушка!

Смирной вскочил. И замер. Не почудилось ли? Но теперь он снова услышал свое повторенное имя.

Вместе с бабушкой Стешей вбежал в горницу. Чуть светилась лампада. С кровати тянула тонкие, обнаженные руки Дарёнка. Захар крикнул:

— Здесь я, родимая, здесь.

Но она не слышала и все звала, звала...

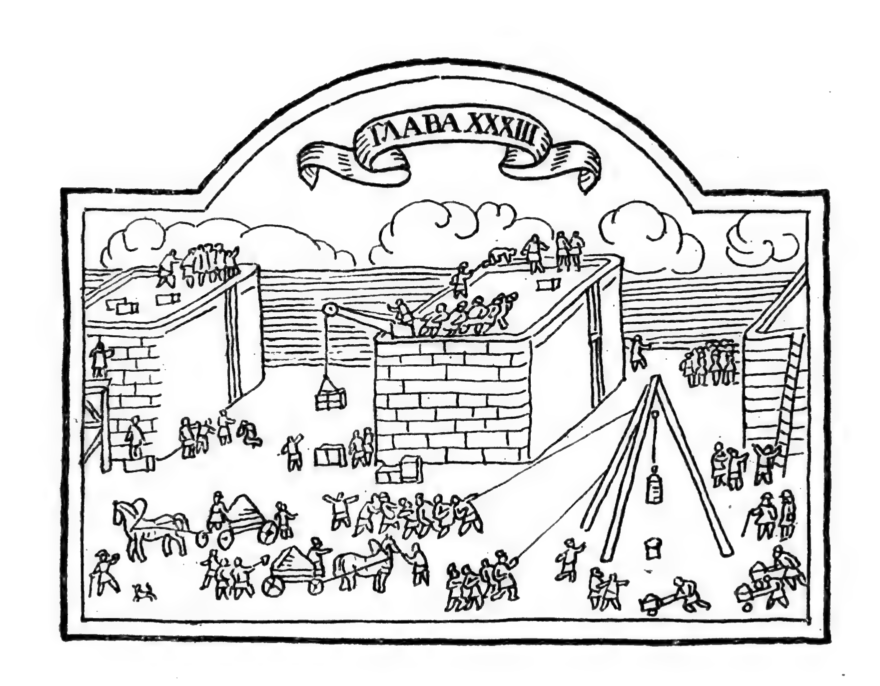
Степанида Федоровна никогда не видела, как плачут мужики. Она подошла к Захару, уткнувшемуся лицом в косяк, тронула за плечо, проговорила сурово:

— Я тут одна управлюсь... А ты поезжай на канаву. Право, поезжай...

Смирного знобило. Он сидел в телеге и неотрывно смотрел на хатку под рябинами, пока она не слилась с темнотой. Потом лег на сено, лицом вниз. Вожжи бросил. Лошадь сама найдет дорогу в Липки.

---

[1] Кожанки — разновидность летучих мышей.



О МНОГОТРУДНОМ ШЛЮЗЕ

Строительство шлюзовых камер на Неве было делом труднейшим. На сотни свай, вбитых в грунт, легла дубовая обрешетка, сложенная из массивных тесаных бревен. Сколоченные из брусьев ряжи, наполненные валунами и щебнем, примут на себя тяжесть будущего сооружения. Плита и камень в несколько рядов образовали фундаментную кладку.

Над широкой полосой, где станут шлюзные шандоры с воротными механизмами, построили огромную двускатную кровлю. Под нею работали в дождь и вьюгу. Тут гранитчики примеряли блоки, механики ладили поднимальные колеса.

Осень 1730 года прошла в трудах по созданию Невского шлюза. Все делалось разом. На высоких подмостках пильщики разваливали бревна на доски. В воздухе носились опилки. Тачки с битым камнем, грохоча, опрокидывались над объемистыми коробами. Копровые сбрасывали канаты с крюков, и

многопудовая тяжесть, сотрясая землю, падала вниз. В кузнечных избах полыхали горны, плющилось железо. Пламя летело из труб.

Чего давно уже не случалось, Миних несколько недель подряд безвылазно пребывал на канале. Из Петербурга к нему каждый день на быстрых конях прилетали курьеры и отправлялись обратно с приказами по военной коллегии, по фортификациям, по артиллерийскому ведомству.

Он понимал, что надо быть в столице всенепременно. Понимал также, что Невский шлюз — лицо Большого канала. Тут все должно делаться на его глазах, под его рукой.

Ранним утром, в пору запоздалого бабьего лета, когда расцветилась листва на осинах и повсюду липкая паутинка расстилалась и блестела под солнцем, к бровке Невского шлюза подъехала простая дорожная кибитка. Кучер в армяке с высоким воротом слез с козел, надел торбу с овсом на морду лошади и неторопливо пошел на шлюз. У встречных кучер спрашивал, где найти механика Резанова.

Гавриил Андреевич длинной палкой с зарубками вымерял шандорные пазы. Действительные размеры расходились с расчетными. Он сердился, ворчал на плотницкого десятника, требовал полной переделки.

Было ему недосужно. Неизвестно откуда появившегося кучера велел гнать с лесов. Но тут же, веря и не веря внезапно мелькнувшей мысли, окликнул его:

— Стой-ка, полезай сюда!

Через минуту Гавриил Андреевич уже бежал к кибитке. Рискуя сломать ноги, он прыгал с бревна на бревно, задыхаясь, огибал земляные холмы.

Сунулся под кожаный верх, схватил протянутую руку, радостно закричал:

— Чертушка, это ты, друг мой милый!

Резанов сам повел лошадь к паромной переправе. Подоспевшему кучеру велел ехать прямо в подворье.

Абрама Петрова было трудно узнать. Крепко же вымотало беднягу сибирское опальное житье. Не черное, какое-то серое лицо его обросло густой, сбившейся щетиной. Голос стал глухим. Всего тяжелее поразило Резанова, что потускнели, погасли когда-то огневые глаза.

Недавнее прошлое было столь мучительно, что «арап» о нем решительно ничего не рассказывал. В столицу его не тянуло. Он надолго застрял в ладожском подворье.

Постепенно выздоравливал, приходил в себя. Собирался с мыслями. По воинскому регламенту представился Христофору Антоновичу, своему заступнику, и теперь уже — командиру. Тот обнял его, велел отдыхать.

«Арап» поправлялся так медленно, что Резанов сильно встревожился. Как-то Гавриил Андреевич взял приятеля с собою на шлюз.

Там уже начинали подтаскивать на место гранит. А фундамент не всюду еще был укреплен. Механик бегал то к каменщикам, то к плотникам, то в кузницу, где ковались крепежные скобы.

За этими заботами он потерял Петрова из виду. Вспомнил о нем только к вечеру. Бросился искать — и нашел его на подошве второй камеры. Черный инженер с факелом в руках ползал по незаконченной бутовой кладке. Следом за ним с виноватым видом ходил десятник плитоломов.

Петров доказывал десятнику, что именно здесь шлюз будет подвергаться наибольшему действию быстрой невской воды. Значит, на подошву нужна плита крупная, чтобы зазоров было поменьше, — самое верное средство противостоять размыву...

Всю дорогу к подворью «арап» говорил о главном шлюзе. Оживленно, по старой привычке, размахивал руками, волновался — добудут ли плиту нужной крепости. Потом заговорил о том, каким ему видится шлюз уже на действующем канале:

— Великолепное сооружение. Ах, настоящий красавец в технике.

Резанов посмеивался:

— Смотри-ка, ты, кажется, влюбился.

Гавриилу Андреевичу было знакомо это чувство, свойственное только настоящему инженеру, — чувство гордости творением разума и сильных рук. Механик весело поглядывал на приятеля и думал: «Так вот что тебе надобно для выздоровления. Теперь ты у нас быстро встанешь на ноги...»

Действительно, Петров начал с увлечением и радостью работать на головном шлюзе. Человек возвращался к жизни.

Резанов передал «арапу» добрую половину своих обязанностей. Выверка чертежей, сложные расчеты стали его делом. Все водяные мастера знали, что за решением труднейших вседневных задач нужно обращаться к черному инженеру.

С Гавриилом Андреевичем они работали согласно, хотя часто спорили, ссорились, как и раньше бывало.

Петров придумал свой особый способ скорого сброса воды из камеры. Он не мог согласиться с тем, как собирались насосы, требовал, чтобы ставили их совсем по другой оси. Гневно настаивал на переделке креплений ворот.

— Как ты не видишь, — доказывал он Резанову, — замки не будут держать, в створки просочится вода.

Оба инженера чертили прямо на земле свои решения. Приходил Миних, и на все корки ругал того и другого. Ему казалось, что работа делается непозволительно медленно. Инженерам доставалось поделом. Первый спрос — с них.

В столе у Христофора Антоновича лежала уже подписанная им бумага. По этому приказу черному инженеру — ехать в прибалтийский город Пернов, там, в кондукторской школе, преподавать математику и черчение.

В бумаге едва ли не впервые значился — Ганнибал Абрам Петрович. С той поры «арап» и сам называл себя не Петровым, а Ганнибалом.

Почему именно сейчас, через три десятка лет, вспомнилось, что Петр Первый дал своему крестнику не только имя, но и фамилию в честь знаменитого африканского полководца, победителя римлян? Возможно, черному инженеру в зрелых годах пришелся не по душе крестьянский обычай именования по отцу, в этом случае — по крестному. Или суеверно подумалось, что со старой привычной фамилией-отчеством отпадет сама память о пережитых гонениях. Скорее же всего, хотелось таким образом перечеркнуть целый кусок своей жизни, бедственный и унизительный.

Как бы то ни было, на Невском шлюзе Большого канала отныне работал инженер Ганнибал Абрам Петрович.

Миних не спешил отправлять его по новому назначению. Сейчас, в самую важную пору строительства, ему дорога была эта чернокудрявая умная голова.

Строительство шлюза и прокладка русла на последнем перегоне завершались почти в одно время.

Глубокой осенью, перед первой порошей, от Невы можно было не только расслышать работу землекопов, но и разглядеть их. Они вышли из леса и напрямую двигались к шлюзу. Еще неделя-другая — и они уже подступили со своими лопатами к темно-красным, плотно сдвинутым воротам.

Захара Смирного среди землекопов не было. Он с дюжиной отборных молодцов задержался на перемычке, за шесть верст от Шлиссельбурга.

Этот день остался навсегда памятным всем, кто строил Большой канал.

Еще не совсем рассвело, когда к Захару прискакал с Невы верховой. Он привез доброе известие: русло подвели к самому шлюзу.

Смирной и его молодцы не спеша, деловито двинулись к перемычке. Они, кажется, вовсе не чувствовали торжественности минуты. Щурясь, посмотрели на алое солнце, выкатившееся из-за леса, поплевали на ладони и всадили остро наточенные лопаты в землю.

Перемычку снимали осторожно, отвесными слоями, старались выбрать ее до самого низа. Последний слой уже сочился водою.

Захар велел всем подняться на бровку. Остался вдвоем с Егором Шеметовым. Они успели только убрать выглянувшие из грунта камни, как перемычка опрокинулась. Хлынула первая волна.

Захар и Егор кинулись к берегу, но вода настигла их, захлестнула.

Сверху бросили канат, протянули жердь. Оба, отплевываясь, выбрались на сушу. Промокшие до ниточки, они отряхивались, как щенки. Землекопы топали, орали, подкидывали шапки. Смирной, а за ним и вся орава побежали вслед за водой.

Шла она не так уж быстро, пропитывая ложе и откосы. Но под конец ринулась со всей силой, за нею не угнаться.

Все эти версты Захаровы ребята мчались без передыха, с визгом, присвистом, ревом. Неподалеку от шлюза остановились. Оттуда бежали навстречу им сотни людей.

К Егору подскочил Акимушка в распахнутом зипунишке. Егор обнял его:

— Да ты же промок насквозь. Истинно, водяной.

Акимушка шагнул к Захару, остановился в растерянности. Как и все на шлюзе, горбун знал о случившемся в Кивгоде. Хотелось сказать несчастливому товарищу что-нибудь доброе, искал слова и не находил их. Смирной все понял, положил ему на плечо руку:

— Не надо, друг...

Удивленно, через головы Захар смотрел на Абрама Петровича: неужто наш «арап»? Он и есть! Живой вернулся, и то слава богу.

Ганнибал подошел вместе с механиком, протянул руку:

— Ну, здравствуй, кондуктор! Хорошо землекопами командуешь. Много о тебе наслышан.

Смирной выпрямился. Рубаха обтянула широкую грудь. Ответил по-солдатски:

— Желаю здравствовать, господа инженеры!

«Арап» блеснул яркими своими зубами.

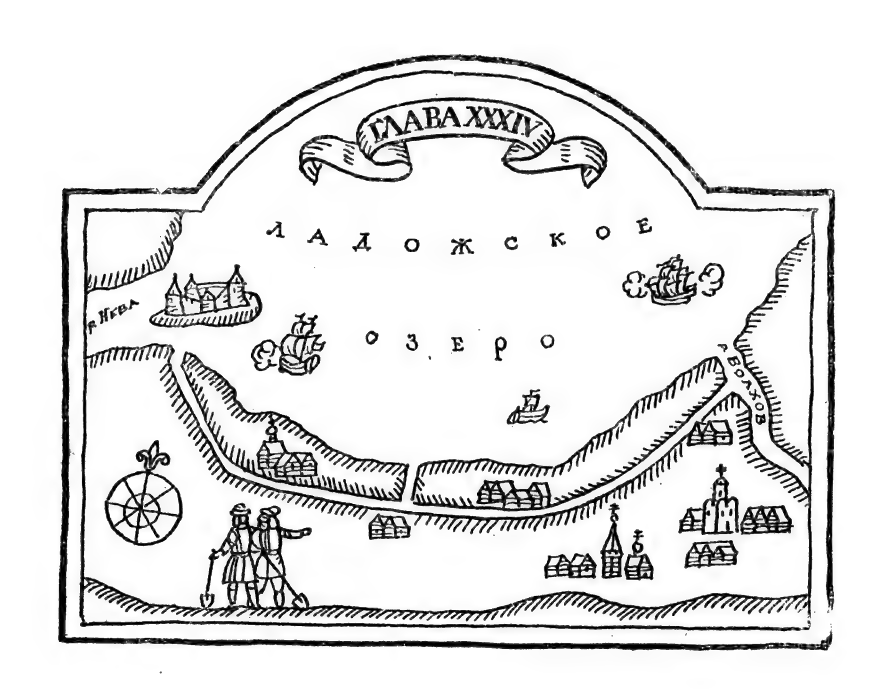
— Что скажешь, малость поломала нас жизнь?

При этих словах он, конечно, подумал о сибирских трудных дорогах, а Захар припомнил новоладожскую каталажку. Теплое чувство благодарности и понимания словно растопило лед неравенства. Нечего было таиться перед этим человеком и тянуться перед ним не следовало.

— Бывает и такая судьбинушка, — негромко ответил Захар.

Стоявший поблизости, на самом берегу канала, Гавриил Андреевич нагнулся, зачерпнул в горсть воду. Она была холодная, с неосевшей еще землей. Механик с наслаждением выплеснул всю горсть в свое разгоряченное лицо.

Это было 11 октября 1730 года.



О РУКОТВОРНОЙ РЕКЕ, КОРМИЛИЦЕ ПИТЕРСКОЙ

Еще с полгода вели на канале достройку. Доделывали шлюз в Новой Ладоге. Заканчивали береговую одежду. Выглядела она весьма внушительно. Первые двенадцать верст от Волховского устья укреплены фашинником, затем до Кобоны сверх ростверка[1] — круглым камнем, далее — деревом, а последняя, «парадная» верста до Шлиссельбурга — тесаной плитой.

Верстовые столбы теперь метились не от Ладоги, но от Невы.

В государственном казначействе подсчитывалась конечная стоимость более чем десятилетних работ. Получилось: 2 477 676 рублей 56 3/4 копейки.

---

[1] Ростверк — бревенчатое основание постройки.

Над этими долями копейки потешалась вся Россия, поскольку знали, что начиная с Данилыча воровство было бессчетное.

В марте 1731 года обнародован указ об открытии канала:

«Объявляем через сие, что Ладожский канал ныне к окончанию приведен и с наступающей сего года весны всякие суда и плоты без всякого задержания и бывшего на Ладожском озере страху, из реки Волхова прямо в Неву-реку проходить будут...»

На пристанях прибиты листы с росписью пошлинного сбора. Платить — по длине барки, с каждой сажени и в зависимости от груза. С судов, кои везут муку, крупу, толокно, горох, солод, овес, сало, мясо, смолу, деготь, брать по рублю с сажени. Суда с медом, маслом, хмелем, табаком, льном, кожей, канатами, железом, пенькой, вином, лаптями платят по 1 рублю 50 копеек; с воском, холстом, мехами — по 2 рубля.

Миних по случаю завершения работ получил в дар мызу Гостилица вместе со всеми строениями, живностью и мужиками.

Христофор Антонович при всех его чинах и должностях — он к тому времени был уже генерал-губернатором санкт-петербургским, ингерманландским, карельским — сохранил за собой, казалось бы, скромное звание главноначальствующего над Ладожским каналом.

В шуме празднеств, как водится, не подумали о тех, кто строил канал, — о работных, о канавских мужиках. Миних от щедрот своих пожаловал им сколько-то бочек пенника. Пусть считают, что получили самую большую награду, — в этакой костоломке остались живы. Чего еще?

Со дня на день ждали прибытия на канал императрицы Анны. Едва только сошла вешняя вода, кондуктору Смирному было приказано в парусной лодке проехать все сто четыре версты канала для досмотра.

Какие же это были чудесные дни для Захара! Он год за годом вместе со своими артелями рыл русло. Можно сказать, как крот, не поднимал головы, видел лишь растревоженную землю, глину, ползущую с лопаты. А сейчас вдруг открылась взгляду плывущая за горизонт лента водной дороги.

Большой канал набирал силу сразу, с ходу. В него густым потоком хлынули тяжело груженные барки.

Все суда старались обогнать медлительные огромные лесные плоты — гонки. Застрять в них — беда. А еще

страшнее — попасть в залом. Развернет течением и ветром такой плот, ни обойти его, ни объехать. До ночи прокукуешь, с места не сдвинешься.

По берегу канала, по бечевнику суда тянули в лямках лошади и люди. Оттуда доносился топот босых ног, свирепое понукание, тягучая «сподручная» песня, в которой за вздохами только и разберешь «о-о-ох» да «у-у-ух», похожие на долгий бесконечный вой.

Под полными парусами суда шли реже. Ветер на Ладоге шалый, на узкости берегись — того и гляди, в откос влепит. Завидев издали перекидной мост, команда «рубила» мачты, наклоняла их, чтобы пройти беспрепятственно.

Среди всяческих барок и полубарок Захар вел свою лодчонку то под малым косым парусом, то гнал ее веслами. Шкипера наклонялись с палубы, ожесточенно бранились. Эта вертлявая скорлупка всем мешала. И чего только она сюда затесалась!

Захар, в свой черед, потрясал кулаками, багром отталкивался от наползавших на него крутых корабельных боков.

— Не серчай, дядя, — кричал он иному судовщику, — и я тут не последняя спица в колеснице!

Желтая вода в канале, подпертая шлюзами, текла рядом с озером, рядом и выше его. Отсюда Ладога виднелась до горизонта. Неоглядная, своенравная, то ласково-голубая тихоня, то вздыбленная, грохочущая, белесая, беспощадная. Но отныне уже не страшная. Человек накинул узду на озеро-море. Путь открыт безопасный.

Может быть впервые в жизни Захар Смирной с удивлением и вниманием посмотрел на свои руки: в ладони, в каждую складочку въелась черная землица, в ссадинах они, в трещинах, обветренные, жесткие, загрубелые. Подумалось: «Экую громадину мы смастерили. Знать, силушкой бог не обидел».

По каналу Захар плыл, будто снова по трудной жизни своей шагал. И грустно ему было оттого, что понимал: туманом повитая, уходила молодость в невозвратную даль...

Заночевал Смирной в Дубно. Утром по холодку собрался в дорогу. Остановился на берегу, у бревенчатого сарая. Под высоким навесом стоял оснащенный бот, и странно было видеть его на подпорах. Бот был сосновый, конопатный, крепленный железом вгладь.

Подле сарая на траве сидел старик сторож. Он вертел в руках пустой рожок из-под нюхательного табака. Увидев За-

хара, старик крякнул, поднялся, поискал у стены свою суковатую палку, чтобы быть «по всей форме». Но разглядел простецкую, мужицкую одежду на плечах подошедшего, сердито остерег:

— Проваливай, проваливай. Нечего тут шляться.

Смирной кинул старику берестяную табакерку. Он набил одну ноздрю, другую. Прочихался, подобрел. Принялся объяснять:

— Государь Петр Великий на энтом боте по нашему каналу от Новой Ладоги ездил. — Приосанился, рявкнул, словно команду подавал: — Паруса при боте — грот с гафелем, стаксель и кливер! — Махнул рукой и добавил потише: — Да что ты, сиволапый, в энтом деле смыслишь... Ну, ладно, посмотрел — и пошел прочь...

Но Захар не уходил. Он не мог отвести глаз от старенькой одноколесной тачки, приваленной к борту суденышка. Доски, из которых она была сколочена, местами потрескались. А на дне, в углах еще не выбита засохшая глина.

Сторож не дал разглядеть как следует тачку, он уж и палкой стал размахивать.

В лодке, отчалив от берега, Смирной все раздумывал о тачке. Ведь это — та самая, на которой Петр Алексеевич в Волховском устье землю возил. Тогда все начиналось. Тогда и жизнь молодого рыбака на новую стежку повернула...

В пути Захар дольше всего задержался у плотин и дамб запасной воды. Наверно, после Невского шлюза это было самое хитроумное сооружение на обходном канале.

Запасная вода впрямь выглядела внушительно. Она состояла из нескольких резервуаров, называвшихся по ближним деревням и урочищам: Дубненский, Белозерский, Черновский... Зеркало простиралось на восемьдесят семь квадратных верст!

Цифру эту Смирной, по должности своей, знал в точности. Тут было чем погордиться. Знал он — и какие затворы надо поднять, какие водоспуски открыть, чтобы этакую уйму воды бросить в канал. Никакое мелководье, никакая засуха не опасны, раз при рукотворной реке имеется рукотворное озеро.

— Вот тебе и сиволапые мужики! — вслух сказал Захар, погрозив в сторону Дубно.

Воду слегка рябило. Смирной взял ветер в свой крохотный парусок. Лодка пошла быстрей.

В Шальдихе дюжина оборвышей грузила барку плитой.

Шкипер озабоченно промерял жердью осадку. Какие-то мужики и бабы просили довезти их до Липок. Шкипер разрешил, и они шумно заполнили всю палубу, где стояла объемистая бочка с невской водой.

Приосанясь, шкипер крикнул:

— А ну, махни!

На берегу приняли команду. Парень, сидя на низеньком, брюхастом коняге, взмахнул кнутом. Медленно тронулась барка...

Люди обживали новую дорогу. По каналу двигалось так много барок и плотов, что к вечеру заметно нагоняло воду к низовью, и только ночью уровень выравнивался.

Кондуктор заново придирчиво осмотрел кобонский шлюз, лавские плотины. Составил роспись самонужнейших доделок в Шальдихе и Назие.

Когда он подплывал к Шлиссельбургу, воды Ладожского озера светились, зажженные вечерней зарей.

— Должно быть, к ветру, — отметил Захар.

Далеко за озерной гладью, на самом горизонте, темнела неширокая полоска. То был остров Зеленец, и до сей поры — необитаемый. И снова нахлынули мысли о далеком, давнем. Ведь тогда, в ту страшную бурю, Захару казалось, что нагрянули самые тяжелые дни. А сейчас он знает — это были счастливые дни. Неделя счастья. Одна на всю жизнь...

Стало зябко. Смирной во всю силу налег на весла.

На следующий день в ладожском подворье кондуктор передал свои росписи механику Резанову.

Миновал еще месяц всяческих расчисток, доделок. Большой канал был готов принять гостей из столицы. Гости не спешили. Приехали через год.

К этому времени канал уже работал размеренно, полным ходом. Единственная задержка произошла именно в день приезда Анны. Все суда и лесные гонки были остановлены в самом русле и на волховском рейде.

С плота, покрытого ковром, рослая, рыхлая женщина мазнула кистью по воротам Невского шлюза. Ведерко с разведенным золотом, стоя на одном колене, держал Миних.

Флотилия, расцвеченная флагами, поплыла к Новой Ладоге. Палили пушки на берегу. Только утром заждавшимся шкиперам и плотогонам разрешили пройти канал.

Десятки судов продолжали путь в Петербург, а сотни и тысячи на больших и малых реках были на подходе.

Плыли огромные волжские барки, легкие еловые ильменские полубарки с хлебом. Плыли вологодские каюки, скрепленные вязовым лыком, и камские коломенки с железом, нижегородские унженки, украшенные нарядными, в деревянной резьбе каютами — настоящими избами на корме — и целые караваны ладей — свирских, соминских, тихвинских.

Вся Росссия обновляла канал, голубой путь.

А в столице по сему случаю никаких празднеств не было. Там успели позабыть об осенних и весенних тревогах (канал-то ведь начал действовать давно, с полпути). Перестали с боязнью думать об озере-море. Знали — Ладога всегда выручит.

За позолотой, вскоре облупившейся, за мгновенной, легко исчезающей мишурой открывалось незыблемое. Дело, сделанное работным людом.

Струилась под солнцем, плескалась в берега река рукотворная, кормилица Питерская.



О СОБЫТИЯХ НА БОЛЬШОМ КАНАЛЕ СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Ладожский канал, великий российский труженик, на многие годы стал главной дорогой, связывавшей Петербург со страной. По этой дороге шло все нужное городу: съестные припасы для жителей, металл для его молодых заводов и верфей, лес — строителям, оружие и порох — армии, готовой всегда защитить столицу.

Судьба людей, создавших канал, сложилась по-разному: у одних вполне заурядно, у других — во взлетах и падениях, у третьих — страшно, по мерке своего сурового времени.

Захар Смирной и Аким Чертопрудов долго еще работали на канале, — русло, так же как плотины и шлюзы, постоянно надо было осматривать, подновлять.

Захар после смерти Дарёнки остался навсегда бобылем.

О Егоре Шеметове не известно ничего. Затерялся его след в мире, как и у неисчислимого множества других работных.

Трагически закончилась жизнь раскольничьего старосты Ивана Круглого. Стали явными его разговоры об антихристе и противлении властям. Круглого, «яко сосуд непотребный и зело вредный», заковали в ручные и ножные кандалы и бросили в Шлиссельбургскую крепость — ее молчаливые стены вздымаются чуть не рядом с Невским шлюзом Большого канала. Иван отказался от исповеди. Его замуровали в каменный мешок, оставив малый проем, чтобы можно было просунуть ломоть хлеба. Круглой не брал еды. Через месяц разобрали кладку и увидели, что узник «явился мертв»...

Механик Гавриил Андреевич Резанов прожил долгую жизнь и всю ее разделил между работой на Ладожском канале и воинской службой. Известно, что он делал гидротехнические изыскания в бассейнах Волхова и Волги. Затем руководил исправлением обходного канала.

С началом войны, впоследствии названной Семилетней, Резанова как военного инженера отозвали в действующую армию. Он прошел с полком всю Восточную Пруссию. Из-под Берлина был снова возвращен на Большой канал и назначен его генерал-директором.

Ганнибала Абрама Петровича ждали новые испытания — так уж, видно, ему было «на роду написано». В Пернов, в кондукторскую школу, он приехал с молодой женой, красавицей Евдокией. Но красавица не любила его, и очень скоро оказалось, что она неверна мужу — «понеже арап и не нашей породы». Второй брак с пасторской дочкой Христиной был более счастливым. Она родила ему одиннадцать детей, из которых первенец Иван стал впоследствии знаменитым генералом, героем Наварина и Чесмы.

Абрам Петрович некоторое время служил ревельским обер-комендантом, затем командовал инженерным корпусом. А в шестидесятых годах принял от Резанова начальство над Большим каналом.

В эту пору он часто жительствовал на ладожском подворье, которое уже называлось Ганнибаловским [1].

Именно здесь в именинный день встретились два седых инженерных генерала. Гавриил Андреевич подарил старому

---

[1] Поселок Ганнибаловка и в настоящее время существует в Ленинградской области на Ладожском озере.

товарищу бережно сохраненный портфельчик зеленого сафьяна. Абраму Петровичу дорога была эта память пережитого.

К зрелым годам и особенно в старости Ганнибал стал неуживчив, тяжело гневлив, несправедливо жесток даже к близким людям...

Совершенно удивительным образом сложилась дальнейшая судьба канального директора Бурхарда Кристофа Миниха. Кажется, никого мутные волны дворцовой жизни не возносили столь высоко и не бросали в такую глубокую пучину.

После многих лет, отданных инженерству, Миних снова взял шпагу в руки. Уже фельдмаршалом в 1735—1739 годах водил войска против турок. Он трижды вторгался в Крым. В Яссах отпраздновал покорение «молдавского княжества». Полки, вернувшиеся в столицу из турецкого похода, были встречены звоном колоколов. По примеру древних римлян, отмечавших победы лавровыми венцами, гвардейские офицеры украсили шляпы «кукардами из лаврового листа», на что были израсходованы все запасы дворцовой кухни. Солдаты же имели «кукарды» попроще, из елового лапника.

Во дворце шли шумные празднества. Снег на Неве почернел от непрерывных салютов... А во всей России, в крестьянских семьях лили слезы вдовы и сироты по своим кормильцам. В крымских степях, у стен турецких крепостей легло более ста тысяч русских солдат.

Добытая великой кровью победа не принесла славы Миниху. Да и победа обернулась миром, который будущие историки назовут бездарным. По договору с турками русский флот не имел даже права находиться в Черном море...

Зимний праздник в Петербурге оказался последним в жизни императрицы Анны. В 1740 году она умерла.

Эта смерть, казалось бы, перевернула одну из самых кровавых страниц российского самовластья. Но это было не так. Началась новая полоса междуцарствия.

За три месяца до кончины императрицы у ее племянницы Анны Леопольдовны родился наследник, царевич Иоанн, по отцу — Антонович. (Знатное боярство по-прежнему не признавало права на престол за дочерьми Петра Первого.)

В октябре 1740 года младенец Иоанн был объявлен императором, а регентом при нем — всеми ненавидимый Бирон.

И вот тогда наступает великий час в жизни Бурхарда Кристофа Миниха. Он становится во главе заговора против Бирона. Поднимает Преображенский полк и арестовывает реген-

та. Бирон отправлен в крепость, а оттуда — в сибирский город Пелым.

Миних ликует недолго. Он правит делами при новой регентше, матери Иоанна. А в ночь на 25 ноября 1741 года гвардия возводит на трон Елизавету Петровну. Грудной император свергнут. Миних арестован.

В сумрачный январский день 1742 года на Сенатской площади в Петербурге вокруг помоста, обтянутого черным сукном, выстроились войска. Под барабанный бой объявлена сентенция: разжалованному фельдмаршалу, обвиненному в измене трону, — смертная казнь. Миних поднимается на эшафот.

Внезапно обрывается дробь барабанов. В наступившей тишине слышно, как шелестит бумага в руках обер-прокурора. По монаршей милости Миниху дарована жизнь. Вместо казни — вечная ссылка в Сибирь.

В ссылке он пробыл двадцать лет. Годы тяжелых испытаний не ожесточили его... Сутулого старика в крестьянском полушубке встретили на окраине Петербурга сын и внучка.

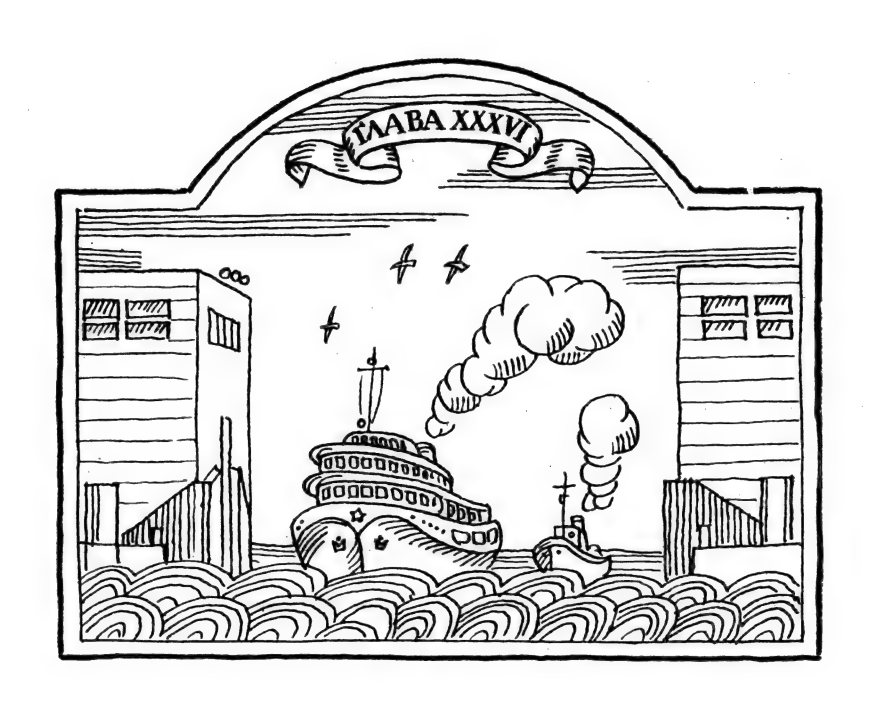
Снова Христофор Антонович становится директором Ладожского канала. Ганнибал вместе с Минихом проехал все русло, от Волхова до Невы. Об этой поездке позже Миних писал:

«По крайней мере тридцать раз выходил я на берег, чтобы осмотреть все шлюзы. Я нахожу в сем занятии ту же радость, какую чувствовал за сорок два года перед сим, когда приступал к деланию канала».

Возможно, в старости неудачливый фельдмаршал понял, что истинное его призвание — не поле боя, а леса строительства, не воинская диспозиция, а инженерный чертеж.

Но жизнь уже кончалась.

Миних успел еще сделать рисунки всех шлюзов и соединить их в альбом, который назывался: «Собрание шлюзов и работ Большого Ладожского канала».



О СОБЫТИЯХ НА БОЛЬШОМ КАНАЛЕ СПУСТЯ ДВА ВЕКА

(Слово к читателю)

И через сто с лишним лет специалисты отзывались о Ладожском канале, как о выдающемся гидротехническом сооружении. Вот что писалось в «Русском вестнике»:

«Между нашими водяными путями Ладожский канал занимает решительно первое место. На нем сосредотачиваются суда, подходящие в Санкт-Петербург по всем трем водяным системам, соединяющим большую часть России с ее северною столицей».

О каких трех системах идет речь?

Прежде всего — о Вышневолоцкой, которая в 1709 году перекопью через древний волок проложила судам путь от Волги к Неве. Долго этот путь оставался единственным, хотя Боровицкие пороги на Мсте сильно мешали судоходству.

Только в 1811 году двинулись суда по второй водной системе — Тихвинской: от Волги к Ладоге барки и гонки шли через Мологу, Чагодощу, Тихвинку и Сясь.

Но Петербург требовал все больше и больше грузов. Этой задаче отвечала третья водная система — Мариинская: 39 шлюзов на пути через Шексну, Ковжу, Вытегру. Здесь могли плыть корабли с большей осадкой. Через каждые двадцать — тридцать лет приходилось перестраивать, расширять и эту систему.

Все же главная беда и старых и новых дорог оставалась неизменной. Суда приходили в Петербург, и здесь их ломали на дрова. Трудная и медленная конная либо бурлацкая тяга против течения обходилась дороже, чем строительство новой барки.

Так было до тех пор, пока не задымили на реках суда с паровыми машинами. Действующий паровой флот появился на Ладоге в 1842 году.

Но тут обнаружилось неизбежное. Необычно новым кораблям оказалось тесно в обходном канале. Они шли озером. А свирепая Ладога ничуть не подобрела. Суда тонули. Да так часто, что страховые компании отказывались выдавать полисы ладожским пароходам.

Тогда снова начались земляные работы на канале. Но теперь это был уже не один, а два канала. Рядышком, ближе к озеру, прорыли второе русло, без шлюзов. По одной нитке суда плыли в Петербург, по другой — из Петербурга.

Таким, совершенно уже необыкновенным, стал Большой канал. Произошло это в 1866 году...

Вот теперь, дорогой читатель, со следующей строки мы перенесемся с вами еще на столетие вперед, из прошлого в день нынешний. И прежде всего поразмыслим о том, где же проходит рубеж между этими двумя измерениями времени? Подумаем, как поразительно близко соседствуют они.

Ведь всего несколько лет назад мы путешествовали по Ладожскому каналу и дальше — на Волгу — по старой «Мариинке». Это был обычный корабельный путь.

Мы видели старинные села — Назию, Шальдиху, Кобону. Ровные, вытянувшиеся вдоль берега порядки домов. Серенькие, необшитые бревенчатые пятистенки. Яркие рябины в палисадах. На пристанях — тюки, ящики с грузом, мешки с почтой. В Шальдихе, как в стародавние времена, лежали штабеля путиловской плиты.

И на судах сохранился обычай запасать в бочках невскую воду. И по вечерам чуть не все жители поселков высыпали на берег провожать пароходы. Капитаны, по обычаю, окликали в жестяные рупоры встречных и спрашивали, не обмелело ли верховье. Старики выцветшими глазами смотрели на уходящие корабельные огни.

В верховье канала раскинулась Новая Ладога, с ярко освещенными стапелями судоремонтного завода. На Свири — «плеса чайная», то есть спокойная, когда матросам можно чайку попить. За корму уходили могучие бетонные корпуса гидростанции.

В Подпорожье не только в названии сохранялась былая сторожкость. Тут приходилось плыть над камнями, имея всего сантимеров десять воды под килем. Истошно гудели буксиры. По напряжению машин, казалось, мы должны были стрелой мчаться. Взглянешь на берег — еле ползем. Рейдовый семафор поднимал предупреждающие знаки — серьги... В Красном яру и в Ровских порогах течение кипело над опасными грядами.

В Вытегре, как всегда перед шлюзом, множество барж ждали своей очереди войти в ворота. Здесь уже начиналась «Мариинка».

Ох, уж эти шлюзы. Стены, сложенные из бревен. Деревянные ворота. Раздвигались они страшно медленно и при этом пронзительно скрипели. Шлюзов, как уже сказано, было тридцать девять. Сначала они поднимали вверх. Потом опускали вниз. Неторопливо, однако вполне надежно.

Пока камеры наполнялись, можно сходить в лес по грибы или полакомиться костяникой, которой густо заросли поляны. Из каждого шлюза виднелись предыдущие — голубые, широкоструйные — ступеньки. Казалось, неведомый гигант в своих ладонях бережно переносит суденышко вместе с водою с одной ступени на другую.

И чувство удивления овладевает нами, удивления перед талантом, сметливостью, трудом умельцев российских. Как же это они сумели проложить дорогу судам, здесь, в непроходимых лесах, в болотных топях, в реках, перегороженных каменными грядами. Да и какую дорогу! Безотказную. На два века.

Теперь же, в семидесятых годах двадцатого столетия, о прошлом напоминает лишь один-единственный старый шлюз в Вытегре. Как некая музейная реликвия врос он в землю на

полупересохшем русле. Потемнели его срубы, неподвижны ворота.

От Невы на Волгу ходят другие корабли. И путь у них иной.

Дорогой читатель, мы плывем с вами по Волго-Балтийскому каналу имени В. И. Ленина на трехпалубном белоснежном корабле. Он — из славной семьи, называющейся «река—море». Ему не страшны никакие штормы.

В Шлиссельбурге мы любуемся старинным устьем Ладожского канала; за ним — горбатый мостик, который когда-то был подъемным, а ныне он — вполне обычный, пешеходный. Ближе к Неве высятся гранитные устои, уже без ворот. Замшелый камень поверху порос простенькими белыми ромашками, синими колокольчиками, густою травой. (Да не будет она травой забвения!)

Это все, что осталось от знаменитого Невского шлюза. Каким же он кажется теперь маленьким! В него войдет разве шлюпка, висящая на кормовых талях нашего теплохода.

Белоснежный корабль громогласным гудком будит эхо в ближних лесах. Гудок разгоняет рыбацкие моторки, снующие в речном истоке. Корабль величаво выходит на просторы Ладожского озера...

На Волго-Балте всего семь шлюзов. Но это огромные железобетонные автоматизированные сооружения. Они способны принимать крупные морские суда.

Еще раньше Волго-Балта начали работать Беломорско-Балтийский и Волго-Донской каналы. Ныне Москва и Ленинград стали портами пяти морей — Белого, Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского.

Давайте прислушаемся к диспетчерским разговорам, хотя бы в Вытегорском шлюзе. Диспетчер — в застекленной башенке, поднятой над стальными воротами высотой в пятиэтажный дом. Отсюда командир движения далеко видит, и голос его, усиленный динамиком, гремит над лесами и долами. Он запрашивает корабли на рейде, откуда и куда идут.

Самоходные суда везут металл из Череповца в Ленинград, хибинский апатит — совхозам Поволжья, карельский гранит — в Волгоград, лес из Архангельска — в прибалтийские республики. Глубоко осевшие черные танкеры тянут нефть с юга в северные города.

Взгляните, какие только порты приписки не обозначены на корабельных бортах! Помимо наших, отечественных —

Хельсинки, Гамбург, Копенгаген, Стокгольм, Лондон. Волго-Балтийский путь давно уже стал международным.

Наш теплоход — ночью, со светящимися иллюминаторами он похож на плывущий город — спешит на Волгу, с ее богатырскими электростанциями и сказочными морями.

Вот Рыбинское море. За бортом проплывают то островок с тропинкой, продолжение которой скрыто водой, то затопленный лес, виднеющийся лишь вершинами деревьев, то одинокая колокольня — в ее проемы хлещут белопенные валы.

По трассе красным и белым светом мигают буйки. Вехи указывают путь: в Весьегонск, на Пошехонье, в Москву, на Волгу.

Ветер развел волну. В снастях ревет шторм. Берегов не видать...

Когда с палубы любуешься этой красотой, непременно испытываешь незабываемое чувство окрыленности. Все, открывающееся взгляду, сделано руками советского человека. И становятся особенно зримыми, вещными понятия: Родина, Будущее, Коммунизм.

Дорогой читатель, в эти минуты самое время мыслью вернуться к той узкой, зыбкой полоске, что протянулась вдоль южного берега Ладожского озера. Хотя теперь она, эта полоска, и осталась в стороне от оживленных корабельных дорог.

Здесь, на Ладожском канале, народ учился преображать землю. Но, чтобы сделать отчий край поистине прекрасным, люди должны были стать свободными гражданами справедливейшего на земле общества. Пусть же нам будет навсегда дорога эта память.

Вспомните о гранитных невских набережных, о Медном всаднике, взлетевшем на вершину Гром-камня. Подумайте о живом Петре, из плоти и крови, о властителе суровом. Это он пришел к решению соединить главные моря и реки страны в единый узел. Мысль гениальная. Но она стала явью только в наше время, и не могло быть иначе.

Подумайте, читатель, об инженерах первого крупного гидротехнического строительства в России, а всего больше — о тысячах и тысячах безвестных. О землекопах, не знавших иного инструмента, кроме кирки и лопаты, о плотниках с задубевшими от топорища ладонями, о камнетесах, кровавивших руки о крепкую плиту. Подумайте о неисчислимом мно-

жестве крепостных, работных, которые трудились здесь и умирали в болотах.

Нет, нет, с высоты нашего времени грешно смотреть с чувством превосходства на них, отживших, далеких.

Конечно, правда, что шагающий экскаватор марки 1977 года сделал бы в пару месяцев многолетнюю работу десятков тысяч крепостных землекопов. Но правда и то, что эти люди трудом своим, жизнью открыли нам дорогу к огням сегодняшнего Волго-Балта.

Ладожский канал, Большой канал — первый стоверстный искусственный водный путь России — давненько уже не называют Большим. Он отслужил свою службу, стал ветераном.

Он поглядывает на растущую рядом новь и по-стариковски делает работу полегче. По каналу теперь ладожане переправляют домашнюю кладь или на лодках ездят погостить в соседнее село.

Почет ветерану. Низкий поклон его седине.

Ладога, Ладога. Дорога жизни. Не забудем о том, что впервые дорогой жизни для великого города на Неве она стала давным давно, еще в пору его основания.

Тихо, как и сотни лет назад, плещутся рыжие волны. Весла рыбаков колышут темные, быстро исчезающие воронки. Изредка промчится катерок — он широкими «усами» долго тащит воду вдоль берегов. Тишина.

Это — Ладожский канал, врубленный в землю памятник труда народного.

Большой канал. Вернем ему это гордое звание. Им начиналось великое.

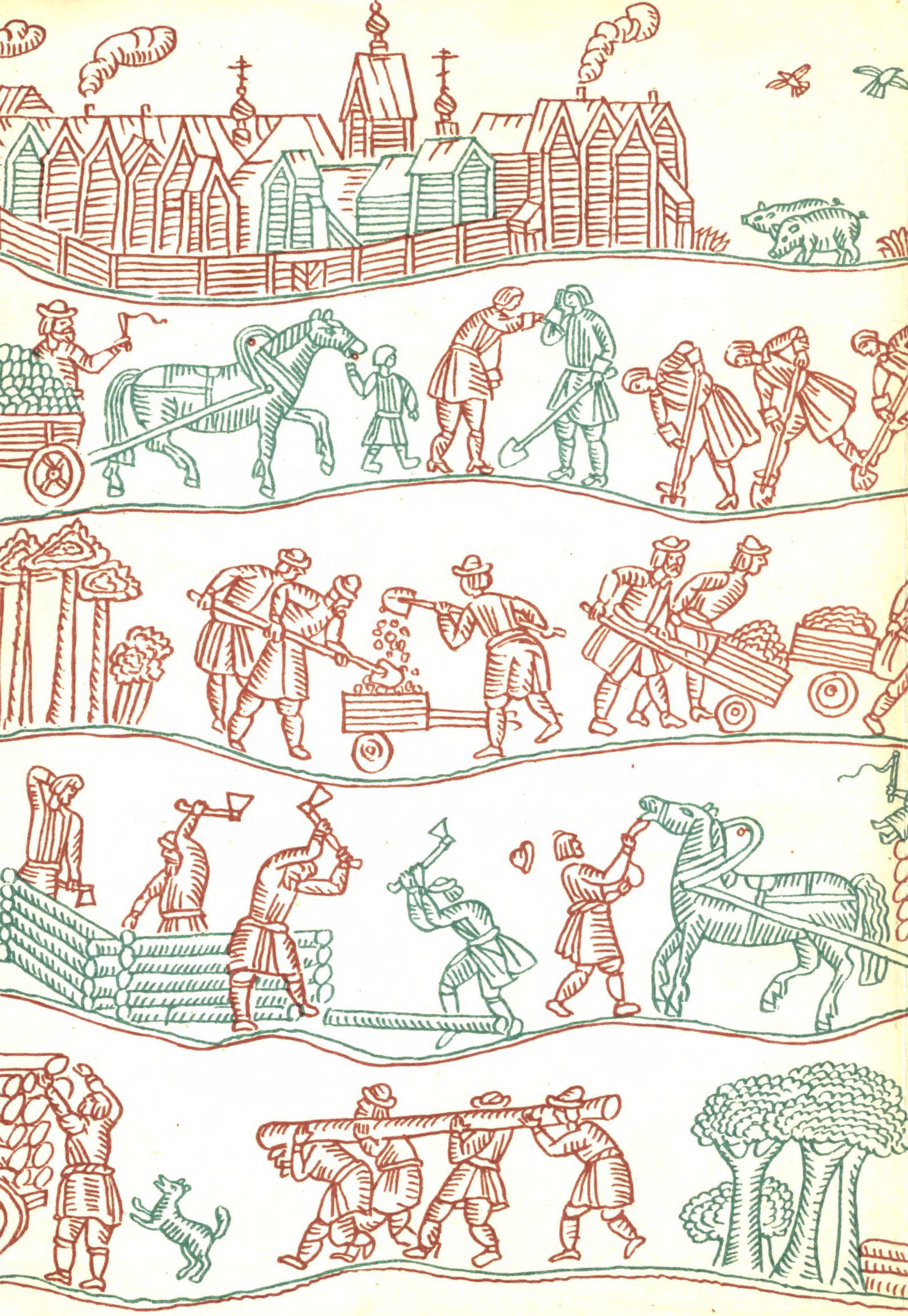
ОГЛАВЛЕНИЕ

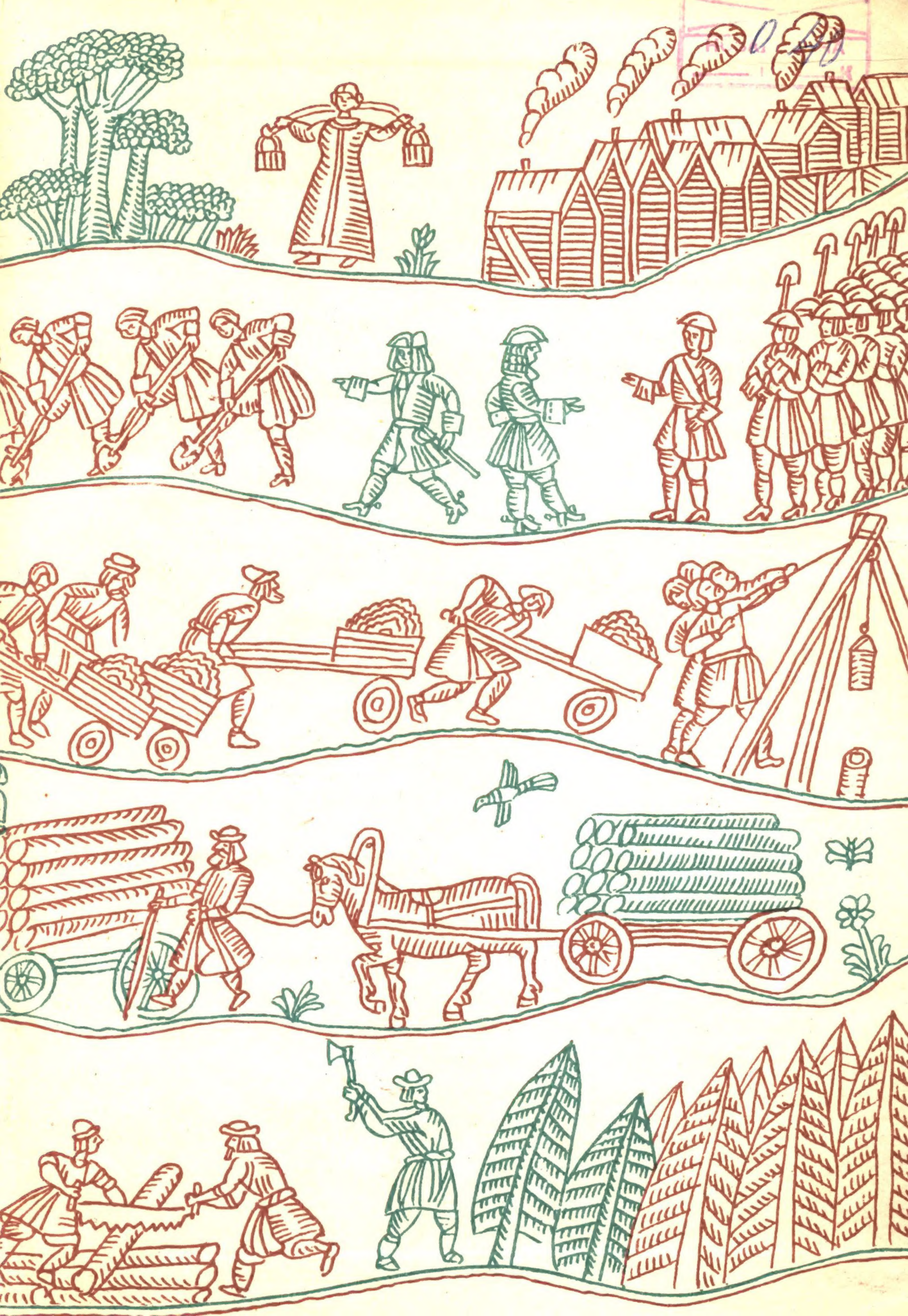
Для среднего и старшего возраста

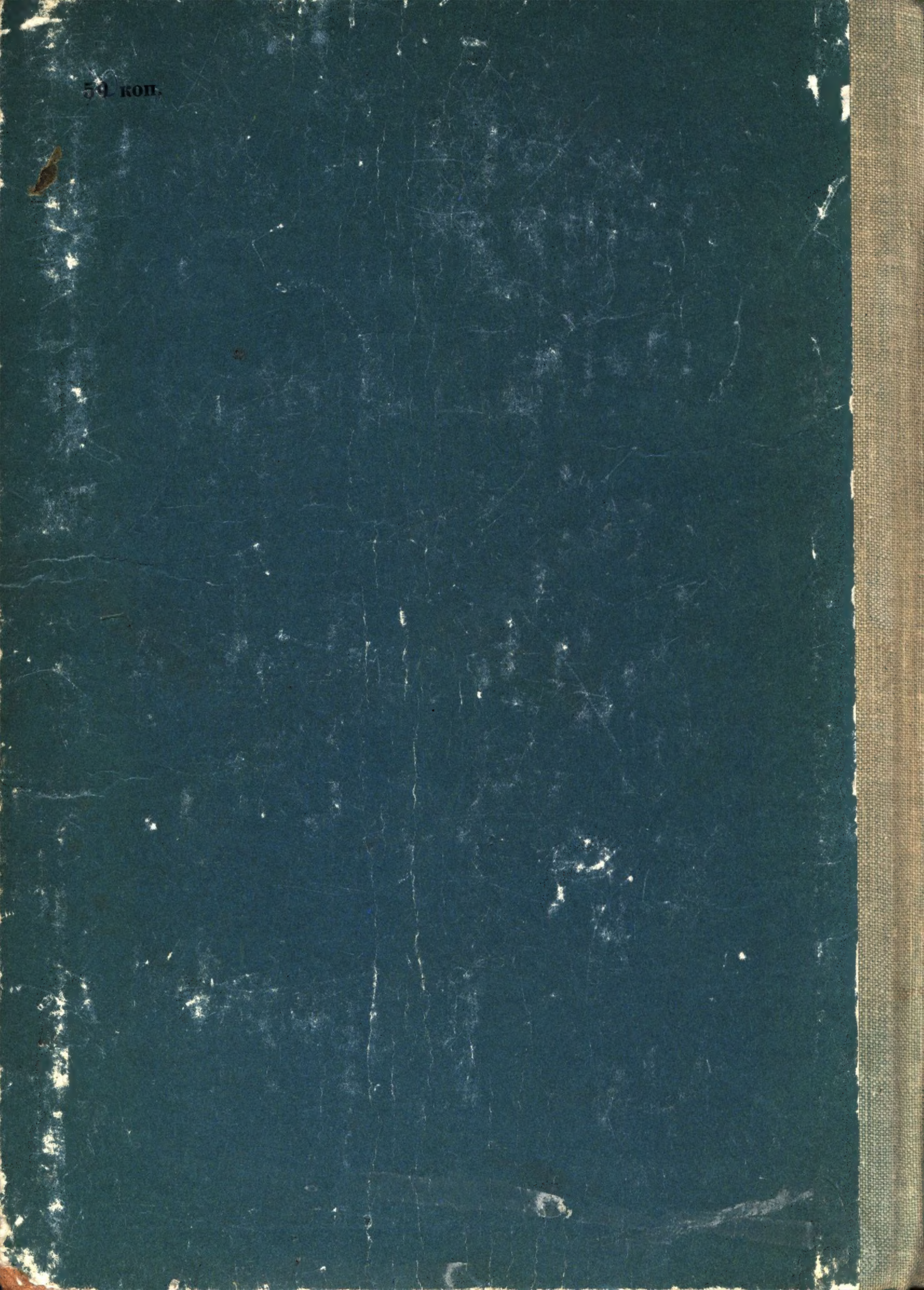
Вересов Александр Израилевич. КАНАВУШКА ЛАДОЖСКАЯ

ИБ № 2575.

Ответственный редактор Ю. И. Смирнов. Художественный редактор А. В. Карпов. Технический редактор Т. Д. Раткевич. Корректоры К. Д. Немковская и Л. Л. Бубнова. Сдано в набор 9/II 1977 г. Подписано к печати 21/VII 1977 г. Формат $60 \times 84^1/_{16}$. Бумага типографская № 1. Печ. л. 13. Усл. печ. л. 12,09. Уч.-изд. л. 11,24. Тираж 100 000 экз. М-26823. Заказ № 624. Цена 50 коп. Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства «Детская литература». Ленинград, 192187, наб. Кутузова, 6. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата Совета Министров РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.







50 коп.